



СОДЕРЖАНИЕ

Страница главного редактора... 3

ПРОЗА

Екатерина Полумискова

Исток Рассказ 25

Олег Солдатов

Повелитель Гольфстрима. Рассказ ... 65

Евгений Шишкин

*Правда и блаженство
Отрывок из романа* 89

Татьяна Третьякова-Суханова

Воспоминания об отце 153

Вера Сытник

Октябрьский поцелуй. Рассказ 167

ПОЭЗИЯ

Валерия Махенько

Стихотворения 7

Николай Фалько

Стихотворения 59

Евгений Лукин

Стихотворения 81

Олег Воропаев

Стихотворения 147

Николай Ананьченко

Стихотворения 161

Станислав Подольский

Стихотворения 189

ЛЕГЕНДЫ СТАВРОПОЛЬСКОЙ

КУЛЬТУРЫ

Тамара Дружинина

Я огненного времени пленец 199

КРАЕВЕДЕНИЕ

Андрей Карташев

Поле боя – Ачикулак 215

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Маргарита Самойлова

«От Невы до Терека» 229

Татьяна Пестрякова

Заря добра 233

Главный редактор

Владимир Бутенко



Литературное

Ставрополье

№ 1 (2021)



© Правительство
Ставропольского края

ББК 84(2=411.2)64
УДК 821.161.1(470.630)-8
С23

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова**

**С23 Литературное Ставрополье. Альманах. —
Ставрополь, 2021 г. — № 1**

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел.: (8652) 26-31-50.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.



На ветрах времени

В нынешнем году проведение международного фестиваля «Белая акация» совпало с памятной датой – восьмидесятилетием начала Великой Отечественной. Поневоле коррективы в расписание встреч внесла волна пандемии. И тем не менее на гостеприимную ставропольскую землю, благодаря огромной работе сотрудников краевого министерства культуры и общественных организаций, вновь съехались яркие представители творческой интеллигенции нашей страны и зарубежья: живописцы и скульпторы, актеры и режиссеры, дизайнеры и артисты балета, писатели и поэты.

Запоминающимся, необычным было открытие праздника. Воскресным днем на Владимирской площади, у искрометного фонтана, при



**Страница
главного
редактора**



стечении горожан собрались знаменитые гости и их ставропольские коллеги, – и зазвучала музыка, свое мастерство прилюдно стали демонстрировать художники и скульпторы, артисты академического театра; близ домиков, где издательствами была представлена полиграфическая продукция, выступали «инженеры человеческих душ». Закипел, захватил внимание пришедших пестрый и шумный «Ставропольский Арбат»! И хотя «не дано предугадать, чем слово наше отзовется», аплодисментами зрителей награждались стихотворения и короткие речи служителей Музы: москвичей Евгения Шишкина и Виктора Пеленягрэ, писателей из Петербурга Евгения Лукина и Александра Покровского, из Китая – Веры Сытник. Столь же приветливо принимали наших литераторов: Екатерину Полумискову, Николая Ананьченко, Олега Воропаева. Валерия Бродовского, Аллу Мельник, Татьяну Третьякову-Суханову, Елену Гончарову и других. Благожелательные отзывы получили выступления молодых поэтов – слушателей «Школы литературного мастерства».

А в последующие дни состоялось еще два знаковых мероприятия. Сначала в краевой библиотеке презентовалась книга «От Невы до Терека», которая была задумана два года назад,



во время предыдущего форума. Она включает прозу и стихи о Петербурге, написанные ставропольцами, а также произведения литераторов Северной столицы, тематически связанные с нашим краем. Дополняют книгу сочинения иногородних участников «Белой акации».

Затем в Литературном центре прошла встреча, посвященная юбилею нашего альманаха. Восьмидесятилетний рубеж – почтенный возраст. По сравнению с первым номером, вышедшим за несколько дней до начала войны, альманах значительно преобразился. Он стал сборником, объединяющим стихи и прозу, материалы по истории и краеведению, публицистику и литературоведческие исследования, статьи о выдающихся деятелях ставропольской культуры, открывателем забытых великих имен и молодых дарований. Гостию фестиваля высоко оценен художественный уровень «Литературного Ставрополя», его направленность на раскрытие нравственных проблем современного общества, просветительское значение и следование традициям русской словесности.

Всегда есть грустинка при расставании с испытанными сотоварищами по творчеству. Верится, что в будущем году нашу землю вновь озарит своим благодатным светом фестиваль

«Белая акация». А пока есть счастливая возможность встретиться с новыми произведениями наших гостей и ставропольских авторов, сеющих «разумное, доброе, вечное».



Августовский вальс

Где-то в полях бескрайних
Звезды давно упали...
Сколько желаний тайных
Мы загадать мечтали!
Только все чаще утром
Воздух туманом скомкан;
А в тишине как будто
Кто-то поет негромко.

Волны в лучах усталых
Греют речные плёсы;
Нити из бус янтарных
В косы плетут березы.
Песню уже не слышно –
Медленно гаснет вечер.
Жаль, что короткой вышла
Наша с тобою встреча.

Скоро укроет осень
Алым ковром брусничник,
В травы небрежно бросит
Горсть золотых лисичек.
Что же от песни светлой
Только печаль осталась?!
Это, прощаясь с летом,
Тихо уходит август...



**ВАЛЕРИЯ
МАХЕНЬКО**

Поэзия



После сна

Последних звёзд сиянье тает
В прохладной зыбкой синеве,
И сновиденье исчезает
В движенье тюля на окне.

Еще примятая подушка
Хранит тепло моей щеки,
И кошка плюшевой игрушкой
Клубком свернулась у руки,

А сон недавний, рассыпаясь,
Сейчас забудется навек.
Я удержать его стараюсь
Под пеленой дрожащих век.

И в царство легкого Морфея
Меня уносит вновь и вновь.
Сквозь дрему снова я успею
Услышать тихий звук шагов;

Увидеть силуэт неясный,
Размытый дымкой голубой,
И восхитительно прекрасный,
И нереально дорогой;

И цепь событий многогранных
Соединить смогу в кольцо...
Но изо всех сюжетов странных
Я вспомню лишь твоё лицо.



Как задержалась нынче осень!
Как теплых дней красив наряд!
Ноябрь, а сад листву не сбросил,
И кисти держит виноград;

Лежат оранжевые тыквы
Среди желтеющей травы.
Я так к теплу уже привыкла,
Что мне не хочется зимы!

Но скоро... Скоро дней погожих
Прервется солнечный черед,
И, словно в улье растревожен,
На грядках трудится народ.

Дым от костров плывет клубами
По зеркалам вчерашних луж,
А мы в корзины собираем
Остатки поздних спелых груш.

С утра уже во всей квартире
Стоит медовый аромат;
Мы будто лето разбудили,
И осы к лакомству летят.

Кипит в большом тазу варенье,
И дольки сочные плодов
Снуют ладьями по теченью
Средь пенных сладких берегов.

Уже прозрачны стали груши,
Сироп густеет золотой.
И, суетой моей разбужен,
Проснулся добрый домовой.

Он по-хозяйски улыбнется,
Рукой слегка коснется плеч:
– Смелей!

И таинство начнется, –
Я закрываю в банки солнце,
Чтоб от зимы его сберечь.

Есть день рожденья у любви –
Я эту дату помню ясно.
И не нужны календари,
Чтоб отмечать ее как праздник.

Есть день рожденья у любви,
А дальше – время трудной жизни:
Свиданий кратких соловьи
И ссоры ревности капризной;

Насмешек добрых озорство,
Пора открытий и волнений;
И в первых спорах торжество
Совместно принятых решений.



Пусть становлюсь уже другой,
Освобождаясь от снов тревожных, –
Мне дорог этот путь с тобой
Из всех других путей возможных.

Как хорошо, что я и ты, –
Мы оба к этому причастны!..
Есть день рожденья у любви,
А дальше – только время счастья!

Сквозь пальцы время утекает,
Как горстка мелкого песка.
А по стене ползет тоска.
Она зеленая и злая.

И будто тень в вечерней мгле,
Она растет и разбухает,
Но так никто и не узнает,
Зачем она пришла ко мне.
Лишь я, баюкая печаль,
В тоске, как в тишине, купаюсь.
И совладать с ней не пытаюсь,
И никому меня не жаль.

Я больше не пишу стихи
И не играю на гитаре, –
Закрылась наглухо в футляре,
И волком вою от тоски.

Хочу в глаза ей заглянуть
И у порога распрощаться,
И больше с нею не встречаться.
Но это все когда-нибудь.

Когда-нибудь, ну а пока
Шепчу секреты ей на ушко...
Живет зеленая тоска
И ночью плачет под подушкой.

– Знаешь, я не люблю вокзалы.
А еще не люблю прощанья...
Я вчера тебе так сказала
В оправданье себя, в оправданье.

Не пришла я со всеми вместе,
За столом с тобой не сидела,
И не пела прощальных песен,
И в глаза твои не смотрела.

Не смахнула слезу платочком
На перроне в толпе гудящей.
Я тебя проводила молча,
Только хмуриться стала чаще.

Мне одной лишь сейчас известно,
Как душа от разлуки ноет.
Как в квартире пустой мне тесно,
Где когда-то нас было двое.



Но жалеть меня, - нет, не надо!
Это шутка судьбы такая.
Просто нет тебя здесь, рядом,
Но ведь где-то ты есть, – знаю!

Чтоб тебя не считать потерей
И отчаянью чтоб не сдаться,
В нашу встречу упрямо верю...
Потому не пришла прощаться.

Ненастье

Ну вот и первое ненастье:
То снег, то дождь идет с утра,
И серым шлейфом небо застит,
Нас прогоняя со двора.

...В кофейне маленькой безлюдно,
Уютно, тихо и тепло.
Лишь за столом холодным утром
Скучает женщина как будто
И смотрит изредка в окно.

Цветной наряд не по погоде.
Над чашкой кружится дымок.
Она забыла о работе:
То с телефона глаз не сводит,
То нервно комкает платок.

И ароматный крепкий кофе
Хоть и согрел ее сейчас,
Но не развеет вздох глубокий
И бесконечно одинокий
Усталый взгляд потухших глаз...

Она на плечи плащ набросит
И, прежде чем за дверь скользнуть,
Кого-то в небесах попросит
Пусть не бабье лето, – осень
Продлить хотя бы на чуть-чуть...

Предчувствие

Томит предчувствие любви.
Неясное пока волненье...
И где-то впереди мгновенье,
Когда замрет весь мир вдали.

Еще мои спокойны сны,
И беззаботно сердце бьётся,
А вот в глазах играет солнцем
Желанье смутное весны.

Я жду тот самый взгляд. И вот
В нем любопытство, восхищенье,
И я искусство обольщенья
Лишь для тебя пускаю в ход:



Случайный вроде бы намёк,
В ответ невинно брошу шутку.
Мы стали ближе на минутку,
А посторонним невдомёк,

Что мы с тобой из праздных слов, –
Да, не единым живы хлебом, –
Под этим грешным дольным небом
Растим сейчас свою любовь.

Как беспечно в июне солнце!
Греет утренний ветерок.
А в реке, как в стекле оконца, –
Весь палаточный городок.

Сколько лиц дорогих, открытых!
Как сияют у всех глаза!
Сколько песен давно забытых
Вспоминается у костра.

Был из музыки соткан воздух,
Мы дышали им, как могли.
Все казалось безумно просто,
И хватало на всех любви.

Тихой песне гитары вторят,
Замер лес под большой луной.
Я хочу взять на память горы,
Все залитые синевой;

Я хочу взять на память вечер,
Ощущенье струны в руке
И запомнить мгновенье встречи,
Перестроившей сердце мне.

Кровь пульсирует в ритме звука,
Но, испивши воды живой,
Не грущу, что придет разлука, –
Наши встречи теперь со мной.

Праздник кончился, дальше - будни.
Делать нечего, станем жить.
Я опять буду ждать июня,
Потому что мне не забыть,

Как капризно в июне солнце,
Греет утренний ветерок...
А в реке, как в стекле оконца, –
Весь палаточный городок.

Попутчик

Когда весне сдается в плен февраль,
Когда октябрь дождями занеможет,
Меня в дорогу снова манит даль,
И сны ночами странные тревожат.



Мне снятся в сизой дымке города.
И перестук колёс на перегонах,
И за окном плывущая звезда,
И тишина полночного вагона.

И горьковатый запах сигарет
Случайного купейного соседа,
С которым вместе встретили рассвет
Под крепкий чай и долгую беседу.

Мне стал роднее всех на эту ночь
Тот человек, чужой и молчаливый.
Он выслушать, казалось, был не прочь.
И я все говорила, говорила...

А после в незнакомом мне краю
Он растворился в суете перрона,
Забрав с собою исповедь мою
И не оставив номер телефона.

Как он теперь живет с моей бедой?
Забыл ли просто? Носит ли с собою?
Мне стало легче после встречи той.
Вот только совесть мучает порою.

Меняет время на вокзалах ход.
И где-то в шумном зале ожиданья
Моя неуспокоенность живёт
И помнит все разлуки и прощанья.

И помнит полустанки на пути,
Что мы, не замечая, пролетали.
А может, мне там стоило сойти?
А может, там меня все когда-то ждали?
И вот опять один и тот же сон:
Уходит путник в темноту устало,
Меня уносит прочь пустой вагон,
А я... «спасибо» даже не сказала.

Я - Женщина! Дарую вам Любовь,
Вселенскую безудержную нежность,
И строки самых ласковых стихов,
И вольного характера мятежность.

Меня нельзя понять и предсказать:
То поманю, то оттолкну капризно.
Но я любовь умею отдавать
Отчаянно, легко и бескорыстно.

Я в чувствах утопаю с головой.
И если в сердце чувствую смятенье,
Сведу с ума и отниму покой,
И стану вашим лучшим наваждением.

Я не ищу восторженных похвал,
Но вызываю ваше восхищенье;
И до сих пор никто не разгадал,
В чем тайна этой силы притяженья.



За каждый миг благодарю судьбу!
О, сколько вас, в душе моей хранимых!
Мои мужчины, я вас всех люблю!
Единственных. Родных. Неповторимых.

Спокойный взгляд, изогнутая бровь,
А в голосе - манящая небрежность,
Чуть уловимый аромат духов
И дивная, безудержная нежность...
Я - Женщина! Дарую вам Любовь!

Думаю о хорошем.
Мысли полны желаний.
Я не хочу быть прошлым
Грустных воспоминаний!

Я не хочу, чтоб вечер
Стал суетливым, громким
И волшебство от встречи
Глупым скандалом скомкал.

Так уже было с нами:
Ты на моё «не верю!»
Бросишь брелок с ключами,
Хлопнешь обидно дверью.

А за порогом – осень,
Ветер свистит полночный.
В окна бросает хлётко
Град водяных пощечин.

К ним прислонюсь щекою –
Дрожь пробежит по коже.
Нашей пустой войною
Мы со стихией схожи.

Может, давай не будем
Мучить друг друга злостью?!
Мы же родные люди!
Ссоры возьмем и бросим!

Мне не хватает части,
Я, как и ты упряма:
Если мечтать о счастье,
Только о полном самом.

Ночь ступевала грани.
Сон на подушку брошен.
Мысли полны желаний.
Я не хочу жить прошлым!

Думаю о хорошем.

Короче тени на лугах.
Оделось небо синевою.
И серебрится старый шлях
Хрустальной талою водою.



Ещё стыдится сонный лес
Застывшей наготы прозрачной,
Но на березе свежий срез
Тепла начало обозначил.

И воздух чист, и ветер сух
Над разогретой теплой пашней.
И обострённый ловит слух,
Как грач по полю ходит важный.

Густые заросли ольхи
Дрожат сережками несмело.
В селе горланят петухи.
Собаки лают ошалело.

Во сне мурлычет рыжий кот,
Не прикрывая лапой носа.
Скрипят натужно у ворот
Телеги новые колёса...

До света не сомкну ресниц.
А по утрам меня все чаще
Волнует крик счастливых птиц,
Из дальних стран домой спешащих.

Я этой музыкой полна!
Капли! Трели! Ярко! Звонко!
Звучит симфония восторга
С названьем солнечным Весна!

Утро начинается с дороги.
Сборы в предрассветной суете:
В небе – сонный месяц круторогий,
Распеваает чайник на плите.

Деловито бодр, сосредоточен,
Ты поправишь галстук на бегу,
Как всегда мне скажешь, между прочим:
– Все. До встречи. Я тебя люблю.

По привычке губ моих коснешься
И уйдешь, спокойный и чужой...
Оглянись! Но ты не обернешься –
Ты уже в дороге, не со мной.

И от слов прощальных долгожданных
Так и не повеяло теплом:
Рядом, но как будто в разных странах
Мы с тобой уж сколько лет живем!..

Думаем о детях, о работе,
Забывая, что любовь была;
Нас дороги разные уводят,
Увлекают разные дела.

Все уже на грани - хрупко, зыбко...
Но известен мне рецепт простой:
Если утро начинать с улыбки,
То желанней будет путь домой!



Под монотонный шум дождя,
Прогнав жару дневную прочь,
Мосты на реках разведя,
На город тихо сходит ночь.

Я так люблю ее покой:
Ее расслабленность и лень –
Итог истории земной
Длиной в один короткий день.

И скверы мокры и пусты.
И в окнах свет давно погас.
И на небесные посты
Вернулись звезды в нужный час.

А дождь идет себе, шуршит
По крышам, травам и кустам:
То колыбельной моросит,
То бьет в огромный барабан.

Под этот ровный мерный гул
Все погружается в печаль,
Но будто кто меня толкнул
Сквозь дождевую вертикаль.

И там, под зеркалом воды,
С меня смывает ночь теперь
Проблемы, радости, мечты,
Неотвратимости потерь...

Я завтра снова ошибусь.
Я буду умной или злой.
Но неизменным будет пусть
Лишь то, что вместе мы с тобой.

Под монотонный шум дождя
Пусть будут сны твои легки.
Ты сладко спишь давно... А я
Опять пишу тебе стихи.



Исток

Снег в середине марта 1238 года от Рождества Христова в непроходимых лесах к юго-востоку от Великого Новгорода был тяжелый и сырой, сверху покрытый ледяной коркой, кое-где тонкой и шершавой, как подсохшая рыба чешуя, а кое-где прочной и блестящей, будто воины небесные своими огромными алмазными щитами землю укрыли.

Да и всё в округе в то утро казалось пепельно-серебристым, словно посыпанным золой, развеянной из погасшего очага. Запах гари наносило порывистым ветром навстречу небольшому отряду из двадцати хорошо вооруженных всадников, которые пробирались по заповедной северной ветке Серегерского¹ торгового тракта, намериваясь обойти с востока замерзшее озеро.

¹Летописное название Селигерского пути — одного из средневековых торговых путей, связывавших Новгород Великий с Низовскими землями. На нём стоял новгородский город Торжок (Новый Торг)



**ЕКАТЕРИНА
ПОЛУМИСКОВА**

Проза



Зимние холода ещё стояли по ночам, а днём солнце чуть подтапливало сугробы, и стаи крикливых ворон временами устраивали галдёж, осыпая заиндевелые иголки с раскидистых еловых лап. Ведь никто другой, кроме птиц да зверья, не смел беспокоить это заколдованное ледяное царство до недавнего времени. Нынче же ехал молодой князь новгородский Александр Ярославич в сторону поверженного Батыем Торжка.

Если бы стал дожидаться князь, покуда вече новгородское обсудит, одобрит, объявит громогласно да снарядит в поход большую дружину против монголов, Бату лавиной бы уже подступил к воротам города и захлебнулись бы новгородцы в крови, разделив участь всех городов русских, которые хан с землёй сровнял. А потому, собрал Александр свою малую дружину из лучших воинов да охотников, буркнул привратникам, что дескать на зверя собрался - запасы сделать, ловушки, ямы да капканы проверить и новые соорудить, а заодно и леса проведать, что на юго-восток пролегли от Новгорода, дозоры выставить. Ежели удастся – узнать новости о судьбе Юрия Всеволодовича, великого князя Владимирского, дядьки своего родного. Жив ли, в плену ли, а ежели погиб – так поклониться праху его. Коли врага ждать – так надобно подготовиться, самому своими глазами убедиться, что к чему.

Стражи ещё затемно ворота перед князем и его отрядом послушно распахнули, и всадники растворились в густых предрассветных сумерках.

Вылазку эту тайную князь мыслил завершить в



пять дней, на большее не было времени. Ехали молча и дорогу выбирали, повинувшись волчьему чутью бывалых ловчих, воспитавших Александра сызмальства, научивших его храбрости, мудрёному искусству на зверя в одиночку ходить. Медвежатник Шостак Орешко, высоченный и неимоверно сильный детина, спасший однажды Александра и брата его Федора от взбунтовавшихся бояр, предпочитал ходить на хозяина леса с голыми руками. А иначе, говорит, трудно будет перехитрить и упредить медведя – глазом моргнуть не успеешь, как полоснёт своей железной лапой по горлу. Да и шума бестолкового с собачьим лаем не любят лесные жители, всегда спешат схорониться подальше от таких горе-охотников. А на умелого ловца зверь и сам побежит.

Другому же ловчему-следопыту Ерёме, ехавшему теперь по левую руку от молодого князя, отец Александра, Ярослав Всеволодович, сына доверял, когда пробирались они по неведомым тропам вдвоём сквозь чащу. Только однажды не углядел наставник, как подопечный, играючи, улизнул в лес и заблудился, попал в яму, в которую до того провалился сохатый. Лось в ярости чуть не задавил княжича, но тот каким-то чудом увернулся и успел вонзить в шею зверя нож охотничий по самую рукоять. Долго пролежал Александр в яме без памяти, пока Ерёма с помощью собак не обнаружил мальчишку. Не сказал тогда княжич отцу про тот случай, ведь вылечил-выходил его Ерёма и стал ему самым близким другом. А когда старший, горячо любимый брат Федор Ярославич в канун свадьбы

своей внезапно преставился, то стал Александр почитать Ерёму, воспитателя своего, за старшего брата, пропадая с ним неделями в угодьях княжества новгородского. Исходили они здесь все дорожки, излазали все болота, каждый ручеек заприметили и каждую кочку, каждое дерево обняли.

Игнат-ратник был при князе телохранителем, хоть и не молод уже. Вместе с его сыновьями, Василием да Ерофеем, рос княжич, постигая искусство владеть мечом и луком, управлять конём и без седла скакать.

* * *

Худые новости, летевшие со всех концов земли русской в Новгород, опечалили князя и храбрых товарищей его.

Рязань, Коломна, Владимир, Москва, Суздаль, Тверь, Углич, Переяславль... Затем сеча лютая на реке Сити. Молодой князь новгородский ещё не знал, а Бату не поверил, что Юрий Всеволодович, князь Владимирский и родной дядя Александра, голову сложил в том бою - даже погоню монголы за ним учинили, чтобы разыскать и силой на поклон к великому хану привести. Но темник Батыев Бурундай прислал в стан голову великого князя в докладательство гибели противника и своей полной победы. А Василько Константинович, князь Белозёрский, тогда же в плен угодил к монголам и смерть жуткую принял.

Теперь вот Торжок...

Когда Батый только осадил город, в Новгород



слали гонцов каждый день за подмогой. Но участвовавшие вылазки шведов удержали бояр, городского воеводу и купцов с простым людом от того, чтобы всё окончательно решить на вече и выдвигнуться с дружиной против монголов. Бату-хан только того и ждал, чтобы выманить русичей из чащи лесной непролазной и в одном сражении разом порешить. Но нерасторопность и несогласие меж собой князей, приходившихся друг другу ближними или дальними родичами, да их житейские распри на сей раз, казалось, лишь отсрочили неминуемую гибель городов, поодиночке вставших на дороге Батыевой.

Немногие уцелевшие жители Торжка ринулись в леса искать спасения и до последнего вздоха мстить за близких своих, убитых татарами, за разрушенные дома и разграбленные деревни. Две тысячи монгольских воинов отправились по округе рыскать, чтобы добить непокорных храбрецов и хоть какую дань с них взять. Только где же их сыщешь теперь? Леса хоть и непроходимые, дремучие, а всё же свои, родные. Каждое дерево заслоняет от врагов, стрелы каленые на себя принимает, ветвями да корнями чужаков на землю валит.

Коннице монгольской нынче и шагу не ступить – заплутали, заблудились, в снегах завязли, о каждый пенёк на просеках спотыкаясь, каждому завалу лесному кланяясь. Вот и на пути княжеской свиты уж не раз встречались мертвые монголы, провалившиеся в охотничьи западни да ямы и вмерзшие в сугробы вместе со своими конями,

трупы которых росوماхи да волки рвали и растаскивали по округе. А порой следы кровавые приводили к околевшим телам новоторов² в изодранных полушубках, с закопченными от гари и заиндевелыми лицами, ещё не изуродованными падальщиками. И было понятно, что встретили они смерть свою хоть и не в открытом бою, но всё же не сдались в плен поганым разорителям земли русской, а словно присели передохнуть под сенью деревьев, да так и забылись непробудным сном, крепко сжимая рукояти своих мечей или топоров и охотничьих ножей.

Приостановился князь над таким покойником и сотворил молитву, осенив себя крестным знаменем. А рядом спешил один из его верных спутников, чтобы мертвеца наскоро прикрыть еловыми лапами, и прошептал:

– Опоздали мы, князь. Одни остались против Батыевой рати. Устоим ли, сдюжим? Или к шведам за помощью самое время посылать?

Вспыхнули щёки князя от тех речей, но сдержал он свой гнев и так отвечал:

– Нет, Ерофей, назад не повернём, пока татарских лазутчиков не сыщем и не спросим – что великий воин и полководец Бату-хан в этих лесах забыл, чего он хочет? К шведам я не переметнусь, давно они на Новгород глаз положили, словно медведи-шатуны бродят вокруг да около – не спится им в берлогах северных, обхаживают со всех сторон и будущие барыши в уме подсчитыва-

² Так именуют жителей Торжка



ют. Но и на две стороны нам воевать негоже. А что опоздали... Так на всё воля Божия.

– И что же нам теперь – сидеть и ждать, когда кто-то из них, то ли швед, то ли татарин, осадит и разорит город?

– Как в Святом Писании сказано – время войне и время миру, время разбрасывать камни и время их собирать. Кто поймёт, что всему своё время приходит, тот остаётся в седле и побеждает.

* * *

Тут один из дружинников, ехавших впереди, поднял руку, и воцарилась тишина. Александр, которому шёл восемнадцатый год, был умелым воином и хорошо понимал язык жестов. Он кивнул дозорному, напряженно вытянул шею и чуть прищурился, пытаясь разглядеть сквозь чащу движение, возникшее впереди. Густой ельник скрывал небольшой отряд новгородцев от чужих любопытных взглядов.

Монголов оказалось человек семь - восемь, не более. Они говорили чуть громче, чем следовало, и слова их эхом отзывались в рассветном тумане.

Князь прислушался и различил слова, так как понимал по-монгольски:

– Джегун³, здесь на сотню верст вокруг пусто, как в наших желудках. Великий отец ваш и дядья одним именем своим распугали дичь - ни оленей, ни кабанов, ни лосей нет. Как впрочем и живых беглецов.

³ Сотник

– Вернёмся с пустыми руками – что скажет отец? Что я слишком молод и в свои тринадцать лет не способен подстрелить сову в русской тайге или догнать верхом кого-то из обессиленных ополченцев, едва переставляющих ноги, и что он зря взял меня с собой сюда, на край света?

Продолжить беседу чужаки уже не смогли, так как новгородцы окружили их в мгновение ока, обезоружили, стащили с коней и повязали. Те и опомниться не успели.

Александр направил коня к монгольскому воину, на вид почти подростку, которого назвали джегуном, то есть сотником, и приказал не крутить юноше руки, а отпустить и вернуть оружие – пару охотничьих дорогих ножей, лук со стрелами и колчан, а также чуть искривленную длинную саблю с искусно сработанной рукоятью и ножами.

– Кто ты и что ищешь в зимнем лесу вдали от своего стана? – нахмурившись, спросил Александр и метнул в сторону монгола такой яростный взгляд, будто хотел пригвоздить того к стволу старой берёзы. Понимает ли монгол его вопросы?

– Я сын Саин-хана⁴, – с гордым достоинством ответил юноша так же по-русски, но с сильным акцентом. – Старший сын!

– Вот как! У Бату, я слышал, много сыновей – похоже, великий хан поздно вато женился, – князь старался скрыть, что слова монгола рассмешили его. – И где же твоя сотня? Каков же ты джегун,

⁴ Дословно «добрый хан», есть и другие толкования: «умный», или «мудрый», «благоразумный», «высокородный» - одно из прозвищ Батыя (Бату-хана).



коли даже не арбан⁵! Хороши же твои тургауды⁶, если дали себя обезоружить и пленить сына великого хана!

– Я единственный законный сын и воин, исполняю приказы, иду рука об руку с отцом и братьями в этом походе, – с вызовом повторил царевич, хотя упоминание о братьях, родившихся от нескольких наложниц Батя, всякий раз выводило его из себя.

– Ты смел и откровенен. Я в твои годы сопровождал своего отца, великого князя, в походе на шведов. Мне тогда было двенадцать.

– Мне уже тринадцать, – пробурчал монгол, почти без страха рассматривая статного, пригожего и светлого лицом русского воина, правителя города, до которого, казалось, было рукой подать.

Князь уловил этот любопытный взгляд. Не так глуп сотник, небось разослал своих арбанов-десятников во все стороны. А то, что отрок сей из знатного монгольского рода – так по всему видно. Даже будучи рядовым гвардейцем-кешиктэном⁷, он может командовать сотней. Рвётся впереди своих воинов, совсем как Бату-хан, привыкший загонять коней на скаку, преследуя врага, или врываться первым в проломленные ворота взятых монголами городов и круша всё на своём пути. Разговорить бы его. Много можно узнать от молодца. Хотя, ежели замкнётся, так и слова не вытянешь. На таких вот преданных багатурах⁸ вся

⁵ Десятник.

⁶ Телохранители хана и членов его семьи, «дневные стражи».

⁷ Воин из числа личной гвардии

⁸ Почётный титул, означает дословно – доблестный воин, герой, богатырь

личная гвардия Чингисхана держалась. Был ли у Батыя свой кешикташ⁹ – не известно. Если не соврал парень и он действительно сын хана, пусть даже один из сорока, то князю русскому сегодня несказанно повезло. Утопил Батый в крови землю русскую, но с этого юноши ни один волос не должен упасть.

* * *

Однако внимание Александра привлёк странный небольшой предмет – фигурка из белого войлока, украшенная бусинами, беличьим хвостиком и крошечным, наглухо зашитым карманчиком из златотканного шелка, которая болталась на шее у молодого знатного монгольского воина на тонком плетеном шнурке. И князь протянул руку, чтобы рассмотреть вещицу, но монгол быстро и резко оттолкнул её, рискуя вызвать гнев человека, во власти которого он сейчас находился.

Александр пристально посмотрел в глаза юноши:

– Что это ты носишь? Уж не ладанка ли? У кого-то из побежденных в бою взял?

В глазах молодого джегуна вспыхнул огонь:

– Я в бою славы ищу, не золота. Отец мой, внук Тэмучина¹⁰, обещал мне во владение северный удел. То и вправду ладанка – подарок кормилицы. А от чужих амулетов одни несчастья.

⁹Личная гвардия Чингисхана

¹⁰Настоящее имя Чингисхана



Князь наклонил голову, размышляя, но потом жестом отослал своих людей на некоторое расстояние:

– Оставьте нас, буду говорить с ним с глаза на глаз.

Дружинники нехотя отошли и отвели связанных пленников на другой конец заснеженной поляны, однако трое лучников всё же направились в разные стороны, готовые в любой миг пустить стрелы в монгола, если тот замыслит недоброе.

Александр старался произносить слова вполголоса, с трудом сдерживая гнев:

– И что же ты сеешь вокруг, кроме гибели? Что ищешь на этой земле, которая для меня и тысячи моих братьев по крови и вере священна! Если бы ты был гостем моим, я бы показал тебе удел мой и разделил с тобой пищу и кров. А так даже не могу костёр развести. Его увидят монгольские воины, что, как шакалы, нынче рыщут по лесу, и силы окажутся неравными. А ежели русичи¹¹ на огонь пойдут, то вас в живых не оставят – порвут на куски за убитых в Торжке родичей и товарищей своих. Что делать будем?

– Ты прав, князь, но победитель и побеждённый никогда не договорятся, пока один не получит, что заслужил, а другой не отдаст, что потерял. Две тысячи воинов Орды идут по следу строптивых русичей, которые заслужили смерть. А мы потеряли время. Как теперь разменяться?

– Вот оно что... Так ведь мы, новгородцы, с вами

¹¹ Опоэтизированное обобщенное название русских людей и вообще жителей русской земли, Древней Руси

пока не воевали. И я ещё не решил, что делать с тобой и твоими нукерами. Когда у ворот Новгорода появлялись шведские и немецкие послы, я понимал, что им нужно и что нужно жителям моего города. Тебя же и отца твоего я понять не могу. Или в Великой степи стало так тесно, что северные снега манят монгольских багатуров?

Юноша сначала опустил голову, потом поднял глаза к небу, словно собрался объяснить что-то совершенно необъяснимое русскому князю. Вызывающий тон вопроса не смутил его. Наконец подходящие слова были найдены, и он вновь заговорил:

– Там, где раскинул свои золотые шатры Сарай Саин-хана на берегу Итиль и где великая река впадает в Каспий, там, где цветут нежно-белые и розовые лотосы и бродят в заводях стаи розовых фламинго, где осетра и форель можно поймать голыми руками, а степь по весне на многие версты вокруг покрыта ковром из цветущих маков, Золотой Орде принадлежит всё: земля, вода, кони, люди и даже небо от горизонта до горизонта. Но исток реки – вдали от тех благодатных мест. Мать всех рек берёт начало на твоей земле, князь. Никто из нас, потомков великого Тэмучина, ещё не испил ни глотка из этого священного ключа, не завладел им, чтобы могущество хана под небом стало подобно солнцу, лучи которого проникают во все темные уголки.

– Постой, ты хочешь сказать, что Бату-хан решил завладеть истоком Волги, иначе не назы-



ваться ему покорителем мира? – перебил царица Александр. Он был изумлен тем, что услышал.

– Мой отец – Джихангир¹², кюряган¹³ и правитель Улуса Джучи, достойный памяти моего великого прадеда. И эту землю он обещал отдать мне - единственному законному наследнику своему от матери моей, царицы Боракчин-хатун, построив здесь новый Северный Сарай-Бату. Но я тоскую о своём степном цветущем стане, и белые юрты снятся мне каждую ночь. А здешние холода и ожесточение, с которым сражаются против нас русичи, вгоняют в уныние. Похоже, искать ключ, дающий начало величайшей из рек, всё равно, что искать иглу в стоге сена. Пока найдёшь, забудешь, зачем искал.

* * *

Был бы джегун хотя бы на три года старше, не произнёс бы он, находясь во власти неприятеля, таких откровенных, неосторожных слов, которые могли стоить ему жизни, а Бату-хана лишить единственного наследника.

– Верно говоришь, – усмехнулся князь. – Помилуй Бог... Северный Сарай... А если я покажу одному лишь старшему сыну Бату-хана то заветное место, откуда начинается великая река, затем отпущу тебя и твоих нукеров, не причинив никакого вреда, обещаешь ли ты поведать в точности о том, что услышал и увидел, своему отцу, чтобы он

¹² Дословно - покоритель мира.

¹³ Титул царица-чингизиды.

увёл свои тумены¹⁴ прочь?

– А если нет? – словно торгуясь, произнёс монгол и приподнял одну бровь, а другой глаз прищурил.

– Тогда я пойму, что Бату объявил Новгородскому княжеству войну, а я не привык отступать, тем более, когда мне на пути встречается передовой отряд неприятеля. Твоего отца ведь не смущало, что у него в сотни и десятки раз больше воинов, чем у защитников городов русских! Буду говорить с тобой, как старший сын своего отца - великого князя Киевского, со старшим сыном великого хана. Кто же мне помешает расправиться в лесу с горсткой заблудившихся монголов и отомстить за гибель родичей и товарищей моих?

– Князь не торопился открыть самую горькую из истин – монголы в поисках истока сбились с пути. Проводники из числа пленников указали им неверное направление, подкупленные шведами или кем-то ещё из врагов Руси, чтобы привести несметную монгольскую рать к воротам Великого Новгорода кратчайшей дорогой в обход Селигера и тех мест, где берёт начало Волга, и успеть до вешнего половодья. А эти красивые сказки про колыбель великой матери всех рек оставили на потом!

Александр помрачнел, глядя в блестящее прямо перед ним, смазанное темно-желтым жиром, словно подгоревший каравай, но излучавшее невозмутимую уверенность скуластое, чуть обветренное лицо молодого джегуна.

¹⁴ Десять тысяч всадников.



– Понимаю тебя, князь. Я поступил бы так же, – ответил монгол.

– Не думаю, – усмехнулся князь, – потому что сама Волга-матушка веками питает свои воды от самого неба и местных родников, а лес поддерживает защитников своих. Это в степи трава каждый год отрастает после того, как солнце выжигает её дотла. А коль дерево срубишь, так век должен пройти, прежде чем новое ему на смену встанет. Люди здесь, как деревья – корнями в эту землю вросли, не сдвинешь, не вытопчешь. Если пойдёт Батыев меч гулять по этим местам, то осквернит исток Волги кровью великой. А коли исток напьется крови, то что вынесет он к устью? Вся кровь, что вы здесь сейчас пролили, вместе с ненавистью людской и талыми снегами пойдёт вниз по течению и утопит вас всех в этой самой крови. Не будет больше цветущего Сарая, а будет море крови. Ты и твой отец об этом грезите в походе? Это в степи не заметна пролитая кровь. А речная вода будет помнить веками и сама станет мёртвой. Ты слышал о мёртвой воде?

Свои слова князь вымолвил хриплым, жутким шепотом. Юноша побледнел, и высокомерие схлынуло с его холеного лица. Он помолчал некоторое время, затем упрямо произнёс:

– Покажи мне исток, колыбель великой реки Итиль, а я уговорю отца. Но если он сам пожелает увидеть живой ключ, разве можно найти слова, чтобы запретить?

– Позволить Бату-хану взглянуть на священный исток я никак не могу! Все мы до единого

здесь костями ляжем. А ему придётся две луны ждать, пока растает снег, отступит половодье, высохнут болота, чтобы добраться конным или пешком до того заветного места, которое уже некому будет указать. Весь Великий Новгород молится сейчас, чтобы этого не произошло. Так не найдёт ли хан свою погибель по воле Божьей? Ты уж лучше поищи слова.

– Отец не разоряет города, покоровшиеся ему, готовые уплатить дань и прислать самых красивых наложниц из знатных родов, а значит - признать его безраздельную власть.

– Лишь перед Богом может преклонить колени русский человек, а более ни перед кем! Поле родит и отдаёт свой урожай тому, кто возделал его. Если некому возделывать поле, если перебыёте вы всех кормильцев, кто же накормит воинов и заплатит вам дань? И корову ведь можно несколько лет доить, телят получать, семью содержать в достатке. Если прирезать - так надолго ли пищи той хватит? Ты пробовал когда-нибудь, страдая от жажды в степи, подойти и подоить дикую лошадь, что давно отбилась от табуна и забыла облик человека? Не подпустит ведь близко, а то и вовсе зашибёт. Приручить сначала надобно, взнуздать и приласкать. А уж потом седлать.

С интересом слушал монгол мудрые, дивные речи князя русского, который говорил с ним, как старший по возрасту - мудро и доходчиво, терпеливо и настойчиво, убеждая, а не приказывая.

– Хорошо, мои глаза станут на время глазами отца моего, а ты поклянись, что отпустишь меня



обратно, не причинив зла.

– Ну, вот как мне до конца поверить тебе, если ты даже имя своё не называешь. На Руси так не принято.

– Я – Сартак, – чуть помедлив, вымолвил царевич. – Даю слово.

– Ладно. К вечеру доберёмся, а завтра вернёшься к своим цел и невредим. Обещаю.

Князь Александр обернулся в сторону дружинников:

– Васька, Ерошка! Свяжите-ка этих горетургаудов покрепче верёвками, усадите вокруг дерева и глаз не спускайте. Пусть молча нас ждут. Игнатий! И сыновья твои – с тобой, а всего десяток конных лучников останется здесь стеречь до завтрашнего утра, пока не вернёмся. Остальные едут со мной, хочу показать моему высокому гостю, хотя и незваному, одно любопытное место. По ту сторону Селигера студеного.

Игнатий, дюжий воин в годах, телохранитель князя, тяжело вздохнул и спешился. Непривычно ему было расставаться с господином своим, которого был готов днём и ночью от врага собой и своим мечом заслонить. Но понял, что монголы пойдут по пятам молодого царевича, и некому больше грудью против них встать и по следу не пустить. Промолчал он и повиновался на сей раз безропотно.

* * *

Солнце катилось к западу, растапливая снега горячими круглыми боками, точно блин на Мас-

леницу, которая началась на Руси. Золотые лучи его скользили по макушкам высоких сосен, щедро увешанных шишками, а в воздухе пахло хвоей и прелой прошлогодней листвой. Березки с осинками попадались изредка на опушках молодого ельника, обступившего дорогу по обе стороны, и голые, упругие хворостины раkit охапками торчали из оврагов, исполосовав белую даль длинными тенями.

Ехать становилось всё труднее. Снег, глубокий и плотный, доходил коням по самое брюхо, тропинка петляла, а то и вовсе терялась из виду. Усталые воины молчали, слушая лес - не взлетит ли где потревоженная ворона, не хрустнет ли веточка от неловкого движения.

И вот вдалеке сперва замаячило замерзшее зеркало огромной лужи, образованной родниками, а затем открылась равнина со следами едва обозначенного посередине вытянутого озера, обрамленного синими сугробами.

Дремавший в седле Сартак оживился, вытянул шею и протёр узкие щёлочки глаз, чтобы не проглядеть чего.

Александр покачал головой - дескать, не время ещё, а затем махнул рукой в сторону закатного светила:

– Там, за пригорком, где под старой наклонившейся елью незамерзающая полынья перечеркивает наискось снежную поляну, должен быть тот самый исток. Совсем скоро день сравняется с ночью и станет прибавляться, а снега начнут таять. И весь лес этот, да и соседние леса - от восхода до



заката ехать - не доехать, превратятся в одно безбрежное студёное море. И на две луны остановится движение по этой дороге. А потом побежит вся вода в русло великой реки, наполнит до краёв и даже через край. И то, что всю зиму с неба чистым снегом летело да звездами с Млечного Пути срывалось, окажется в Волге-матушке.

– Красиво говоришь, князь, – воскликнул Сартак и запрокинул голову, словно пытался разглядеть среди вечерних облаков Млечный Путь. По тем временам сын Бату-хана был прекрасно образован.

– Вся земля русская той небесной святой водой крещёная и звёздным молоком вскормленная. Оттого и вправе противиться чужой воле - хоть татарской с востока, хоть шведской с запада. Купцы с севера по этой дороге веками едут, на ладьях по Волге спускаются аж до Персии. Гостям с богатым товаром всегда мы рады. А кто идёт к нам с оружием да с дурными мыслями, болота эти не пропустят, на дно потянут. Вырос я тут, потому знаю всё об этих краях.

– Так что же вы данью с Ордой не расплатились?

– Как же мы станем дань платить и левой рукой, и правой? Одной рукой надо взять, а другой отдать. А если нам приходится в двух руках мечи держать и воевать против востока и запада разом, кто же на такое пойдёт? Восток тела наши крошит мечами Батыевыми, а запад душу выворачивает, склоняя к вере чужой и воле папской. Вот если бы не губил Батый людей русских, так и мы бы про-

пустили конницу его. Хан Батый сыну своему, то есть тебе, новые земли обещал, но не пустыню холодную и безлюдную. Подумай об этом.

– Я подумаю.

* * *

Между тем быстро вечерело. Лошади дальше двинуться не могли, а потому князь и царевич монгольский спешили и в сопровождении Шостака и Ерёмы стали пешком пробираться вперёд, пока монгол в своих меховых сапогах не провалился по колено в ледяную вязкую жижу. Он тут же поджал одну ногу, словно журавль, и завертел головой, отыскивая взглядом, куда бы перепрыгнуть. А прыгать некуда! Под снегом одна сплошная вода.

– Ну, вот и пришли! – усмехнулся князь. – Выбирайся теперь, царевич, обратно по своим же следам, пока не затянуло тебя в трясиину болотную да подлёд.

Александр не без удовольствия наблюдал, как юноша по-заячьи запрыгал, высоко поднимая то одну ногу, то другую, пока не выбрался обратно на небольшой пригорок, где оставили они коней.

– Погоди, князь, я с великой рекой хочу поговорить.

Тут монгол отцепил от седла пустой кожаный мешок, затем поклонился в сторону родника. Следы его на снегу уже наполнились мутной водой. Тогда он снял со своего пояса небольшую серебряную чашку, нагнулся к пульсирующей и



расходящейся кругами водной глади и зачерпнул водицы. Так по чашке наполнил свой небольшой бурдюк. А потом решил пригубить, отхлебнув глоточек. И хотя монголы старались не пить сырой воды в степи, здесь никто не мог этого видеть, а жажда давно сжигала изнутри.

Да и не степь это вовсе! Место, где брала начало мать всех рек, молчаливо обступил высокий хвойный лес. И было в этом безмолвии что-то непостижимое, непередаваемо торжественное. Словно понимал монгольский царевич-тайджи¹⁵, что встречи этой могло и не произойти и что случилась она благодаря невероятному стечению обстоятельств. Само небо свело его, прямого потомка Тэмучина, с русским князем, который обладал удивительной притягательностью и душевной силой, почему-то располагавшей к себе скорее как к другу, а не как к заклятому врагу.

Александр же размышлял о том, что сей монгольский отрок, назвавшийся сыном кровожадного "повелителя Вселенной", как-то должен помочь если не остановить, то хотя бы перенаправить бурную, сметающую всё на своем пути реку монгольского войска, давно вышедшую из берегов и ринувшуюся в поисках нового русла.

Взывать к чести Бату, внука Чингисхана, глупо. Но правнук его теперь стоит перед князем, едва доходя ростом до плеча русича, и улыбается чему-то. А во сне ему снится белая войлочная юрта у самого устья Волги. Нет, не бывать здесь, у истока

¹⁵ Наследственный титул властителя, царевича, потомка монгольского хана.

великой реки, Северному Сараю! Монголам суждено уйти отсюда. Пройти мимо. Разлететься с русичами в разные стороны, как птичьим стаям в небе. О, Царица Небесная и вся Господня Рать, заступись! Отец Варсонофий научил князя грамоте и Священному Писанию, но также научил читать книгу жизни между строк.

Поэтому князь жестом приказал дружинникам разворачивать лошадей в обратный путь, чтобы не терять времени, которое было теперь дороже всего на свете.

Перекусили на ходу, не слезая с коней, сухарями и сушеными ягодами - ведь близился пост, да и огонь разводить в лесу нельзя. А ежели крошка или ягода какая мимо рта просыплется, так птицы склюют, не оставив следов. Монгол по обыкновению утолил голод кусочками хурута – высушенного сыра из сквашенного кобыльего молока, которые он вытащил из седельной кожаной сумки. Хорошо бы сейчас глотком тарасуна согреться, так где же взять эту молочную водку, изготовленную по древнему рецепту, хорошо известному как скифам, так и монголам. Однако даже кумыса в лес не прихватили с собой воины для своего джегуна. А вылазка затянулась на неопределённое время.

Чем дело закончится? Не знал никто.

* * *

Ночь накатила стремительно. Мороз пощипывал за носы, щеки и пальцы. Кони фыркали и храпели, требовали передохнуть и пожевать сена



из небольших мешков, притороченных к сёдлам русичей. Пришлось остановиться и сделать небольшой привал в еловом бору.

Ельник встретил путников неприветливо. Хвойные деревца, обильно покрытые лишайником, словно тянулись своими костлявыми оголёнными лапами ко всему живому, негаданно очутившемуся в их власти, не желая выпускать из жестких, холодных объятий. От стволов тянуло сыростью, а зябкий воздух лишал последних сил.

Старый охотник, гроза медведей Шостак Орешко, подтягивая подпруги и пытаясь накормить княжеского скакуна сеном, недовольно проворчал себе под нос:

– Знамо дело, в сосновом бору – молиться, в березняке – веселиться, а в ельнике – вешаться! Либо человек, либо ёлка.

– А ты бы зря не каркал, Орешко, – отозвался Ерёма, – нам бы к рассвету добраться туда, где Игнат татар стережёт. Хоть бы дождался нас – чую неладное. Аж под сердцем саднит, будто кто нож меж рёбер проворачивает.

– Типун тебе на язык! Что могут сделать с такими молодцами семь, а хоть и двадцать связанных и безоружных кочевников, хоть и ханскими тургаудами зовутся?

– Не знаю... Лес тревожится. Не к добру это... Пойду, князя потороплю. Чтобы не рассиживался с мальчишкой. Больно ласков Александр Ярославич с этим чертёнком.

– А тебе-то что? Поиграет, как хорь с мышом, да за загривок.

– У того мыша больно рожа хороша. Отпустит.

– У князя своё на уме. Батый у порога стоит. Ежели бы отвесили ему столько золота, сколько весит этот мыш, неужто не отступился бы?

– Не думаю. Да и где взять столько? Новгородцы нынче жадные, несговорчивые. Не соберем выкупа.

– А биться с монголами и того глупее. Они перебьют нас, как рязанцев или новоторов, и дальше пойдут. Им-то что!

– Не болтай. Помалкивай лучше. Это тебе не на медведя с голыми руками ходить. Тут ум нужен и хитрость. Силой Батьяна победить.

Орешко потёр руки да закутался плотнее в короткий тулуп.

А князь не спускал глаз со своего пленника. Опасался, что улизнёт отрок из-под присмотра, как и сам когда-то в детстве подшучивал над воспитателями своими, Игнатием да Ерёмой. Только отвернутся - а он уж за деревом или кустом каким притаился. Поди-ка сыщи! Трудно ли по следу обратную дорогу сыскать? Хоть и в ночи да в незнакомом месте. Хотел бы - сбежал к своим, тьма ночная всегда с беглецами заодно. Только Сартак этот, похоже, не собирался бежать. Стоял и молча разглядывал шишки на макушке ели, склонившейся к дороге, словно старуха, отбивая земные поклоны проезжавшим мимо путникам.

– Эй, джегун! А что, братья твои вместе с тобой воюют, или вы порознь?

Монгол обернулся и нахмурился. Затем не



спеша ответил:

– У каждого из нас своя дорога. И я хочу, чтобы пути наши никогда не пересекались. У меня, наверное, столько братьев, сколько лун в году, а сестёр и того больше. Но все они мне не ровня.

– Почему так?

– Великий Бату Саин-хан потому и велик, что каждую ночь на восходе новой луны приводит к себе в юрту новую ослепительную красавицу. Но разве я должен считать всех, народившихся после таких ночей, себе равными?

Князь понимающе кивнул:

– Как-то сын берсерка варяжского сказал мне: друг – он всегда как брат, а вот брат – не всегда друг. Был у меня родной брат старший, любил я его всем сердцем и как брата, и как друга. Но Господь забрал его так внезапно, что до сих пор больно сердцу. Тоскую я по своему брату и другу. А младшие мои братья скоро разлетятся в разные стороны. Поэтому в жизни важнее и надёжнее бывает слово и рука друга, который рядом.

– Только отец, Бату Саин-хан, мне по-настоящему дорог.

Замолчал Александр. Подумал про мать свою. Великая княгиня Феодосия сейчас очень больна – занемогла, слегла совсем после известия скорбного о том, что сровнял Батый с землёй город Рязань и никого в живых не оставил.. А город родной, где сам он появился на свет – Переяславль, что в Залесье, не устоял под саблями монгольскими. Да и бабка князя Новгородского Александра была

половчанкой, дочерью хана Котяна. Воспротивились все половцы Золотой Орде, встали монголам поперек дороги. Так что, слишком уж много личных причин было для гнева великого против Бату-хана. Однако месть не лучший советчик во всех делах.

Передохнули – и в дорогу. Тревожно нынче в лесу...

* * *

Игнат обошёл поляну, потрогал слегка оцарапанную кору на деревьях, покачал головой и велел сыновьям готовиться к бою:

– Чую, придётся нам здесь насмерть стоять. Монголы по пятам новоторов идут, никого не щадят. А эти семеро нукеров – уж больно хлопотное хозяйство. И не бросишь под кустами, и не перебьёшь – князя надо дожидаться. Полезай, Васька, на ту старую берёзу. Вся округа будет как на ладони. Да и лучник ты отменный, коли белку в глаз бьёшь.

– Знамо дело. Ерошку никакая берёза не выдержит. Весь он в тебя, тятя, и ростом, и силушкой, – отозвался Василий и полез на дерево, взяв три колчана со стрелами, запасной лук, и ножи с дротиками рассовал во все места доступные, чтобы доставать, не мешкая – и в голенища сапог, и за пояс, и в рукава, и даже за околыш меховой шапки.

Ерофей в это время пересадил монголов спиной друг к дружке в кружок под раскидистую ёлку да повязал им рты кушаками, а на глаза натянул их



же войлочные шапки по самый нос, чтобы ничего им видно не было. Сам же приговаривал:

– Не обессудьте, гончие Батыевы. В гости вас не звали, не ждали, если новоторы захотят расправиться с вами, так и быть - уговорим их подождать нашего князя. А уж если ваши воины нагрянут – отобьёмся как-нибудь. А там и дружина подоспеет.

Огонь разводить в ночь не стали. Воины разошлись в разные концы заснеженной поляны, чтобы смотреть в оба и слушать, а чуть что – успеть сигнал подать то ли уханьем филина или хохотом совиным, то ли цоканьем беличьим, а то и волком завывать, чтобы кони вражеские шарахнулись прочь.

Вскоре лес погрузился в кромешную тьму. Дело шло за полночь, когда пронзительный бабий вопль раздался откуда-то с дороги, а затем послышалось лошадиное ржание и звон клинков.

Ерофей отделился от ствола, под которым успел прикорнуть, и метнулся на край поляны.

– Не встревай зазря, и помочь не успеешь, и беду навлечешь, – проворчал Игнат, обнажая свой меч.

– А ежели из Торжка кто живой?

– Смотри, тятя, всадники с факелами – татары, – отозвался сверху Васька и потянулся за стрелами.

Один из монголов зашевелился и что-то невнятное промычал. Игнат живо натянул ему шапку аж по самую шею и пригнул лицом к земле.

Погоня приближалась.

Трое в тулупах нараспашку отчаянно отбивались палками от преследователей, стараясь ото-

рваться от нескольких бегущих следом нукеров и троих всадников.

Лес встревожился, вмиг наполнился звуками – послышался хруст веток, конский топот, крики и стоны, уханье филина, затем лязг железа и свист стрел откуда-то сверху. И всё стихло, лишь кубарем покатила и обмякла в крепких объятиях великана Ерошки худая женщина с длинной растрепанной косой в расстегнутом полушубке и залитым кровью лицом. Ратник притянул её к себе и левой рукой закрыл рот, чтобы не вскрикнула, а правой с размаху мечом зарубил до пояса рванувшегося было за ней монгола. И успел встать за ствол дерева, когда подоспевшие нукеры выпустили несколько стрел, вонзившихся в кору на уровне глаз. Остальные прошили воздух, пролетев перед самым носом.

Примерно в десяти саженьях от Ерошки, раздвигая тьму, качнулась чья-то высокая тень навстречу двум преследователям, размахивавшим кривыми саблями. Однако подлетевший на вырубку пешим нукерам всадник перегнулся через седло и достал кривым клинком отчаянно сопротивлявшегося беглеца, размахнулся – и тот рухнул как подкошенный. А на снег под ноги коню покатила голова. Женщина, как безумная, рванулась из-за ствола, оттолкнув Ерошку прочь, но упала тотчас на колени и дико захрипела, вздрогнула и затихла, распластавшись ничком на снегу. Монгольская стрела пронзила ей шею насквозь.

Где-то на краю поляны снова ухнул филином один из ратников, а деревья в ночи, казалось,



ожили и двинулись на выручку к русичам в дрожащем свете смоляных факелов, озаривших старую дорогу и ближайший овраг. Монголов было много. Очень много. Десятка полтора пеших нукеров и ещё конные лучники.

Новгородцы вступили в бой...

* * *

Князь Александр со своими спутниками с трудом отыскал на рассвете то место, где расстался с Игнатом и его сыновьями. Под утро повалил крупными хлопьями снег, опустился туман, изморозь обильной сединой покрыла голые ветки деревьев и густого кустарника. А по дороге растерянно метался мохноногий и низкорослый монгольский конь темно-рыжей масти с заснеженной косматой гривой, оседланный и взнузданный, только без всадника. Дружинники пришпорили лошадей и съехали с дороги, пробираясь дальше меж стволами. Пучки стрел, застрявшие в коре и торчавшие из земли, да окровавленные следы на снегу вывели их наконец к той самой поляне, где перед глазами предстало жуткое зрелище.

Привалившись спиной к старой берёзе и запрокинув голову к небу, сидел Игнатий, истекавший кровью. А на десяток сажений кругом вся земля, белая от изморози, была усеяна стрелами и дротиками, телами монголов, ключьями одежды и лат, испачкана бурыми пятнами. В руках ратника чернела намертво зажатая секира и обнаженный меч. Ствол дерева был залит кровью, причём

стекала она откуда-то сверху. Чуть поодаль, зацепившись ногой в веревочной петле, болтался на ветке вниз головой убитый татарин, а ещё двое с арканами на шее и разбитыми друг о дружку лбами растянулись на краю небольшого оврага. Обломки круглых монгольских щитов и войлочные их шапки валялись под ёлками, раскроенные боевыми топорами и мечами русичей.

Князь и дружинники спешили, подбежали к товарищу своему. Александр нагнулся к нему и тронул за плечо. Игнатий был ещё жив. Губы его дрогнули, глаза приоткрылись, слабая улыбка осветила безжизненно бледное лицо.

– Мы отбили, – пробормотал еле слышно старый воин и тут же испустил дух.

Александр стащил с головы меховую шапку, отороченную куницей, снял с правой руки перстную рукавицу и перекрестился, опустив голову. Остальные сделали то же самое. Сартак оставался чуть поодаль в седле, потупив взор и стараясь не попадаться на глаза никому из русичей.

Василия снимали с берёзы бережно, прежде вынув из его застывшего тела больше десятка стрел, намертво пригвоздивших его к ветвям и стволу. Колчаны юноши были пусты, и при нём не оказалось ни одного ножа. Только лук свой он крепко прижимал к груди и сам, словно лесной дух, врос в голую крону.

Тела Ерошки и остальных семерых новгородцев, сложивших здесь голову, перенесли к этой же берёзе и укрыли суконными попонами, накинув поверх княжеский плащ, который Александр



рванул с плеча. Оружие воинов также оставили рядом, вложив им в руки в знак того, что пали они в бою, не отступив и выполнив долг до конца.

Потом только вспомнили о пленниках.

– Где монголы? – прохрипел Александр и огляделся.

– Да вот они, все на месте, кажись, живые, – ответил Ерёма, подбегая к лежавшим ничком безоружным и безмолвным, крепко связанным нукерам, – что делать с ними будем?

Шостак Орешко не стал хвататься за нож, а по привычке сжал кулаки в гневе и ринулся на тургаудов, словно хотел открутить им головы и растоптать на месте.

Сартак дернул уздечку, отчего конь его захрипел и попятился, а потом закружился на месте, отчаянно мотая головой в стороны.

– Отдайте им коней, верните оружие, и пусть убираются восвояси вместе со своим джегуном, таков был уговор, – в сердцах воскликнул князь.

Монголы немедленно были развязаны и переданы тринадцатилетнему царевичу-сотнику, который решил не медлить и пришпорил скакуна. За ним последовали остальные. Через минуту след их простыл, на поляне воцарилась гробовая тишина, которую нарушил сам Александр:

– Возвращаемся в Новгород. Надо готовиться к битве. Но прежде оставим по пути подарки к новолетию, что не успели вручить Бату-хану. Расставьте самострелы и ловушки. Можно кое-где на дорогах завалы устроить, чтобы конница не

прошла. До стен городских отсюда всего-ничего, чуть более ста вёрст будет. Надо поспешать. И ещё – нужны дозорные, не хочу узнать последним, что неприятель идёт.

С этими словами князь взлетел в седло и тронул поводья.

* * *

Во всех храмах Новгорода ни днём, ни ночью не прекращалась служба, и лампы горели перед святыми образами. Горожане молились, отбивали земные поклоны Богородице, затем шли кто к внешним стенам, кто к своим хоромам и погребам, чтобы приготовиться к осаде. О сдаче города или выплате дани даже не помышляли.

Вечером следующего дня после бессонной ночи Александр поднялся на сторожевую башню. В подступающих сумерках на горизонте, куда упиралась старая дорога, показалась движущаяся точка, через время принявшая очертания всадника, летящего во весь опор. Ворота отворили, пропустив гонца, и снова закрыли наглухо на дубовые засовы.

– Ну? Когда ждать тумены Батыевы? – молвил князь, вопросительно взглянув в лицо воина, одного из своих дозорных, и приготовился принять неблагоприятную весть.

Дружинник поклонился князю в пояс, выпрямился и выдохнул:

– Они повернули, княже! Сам видел.

Воцарилась тишина. Затем князь приподнял



брови:

– Говори, что видел?

– Монголы шли Серегерским путём – конница и обозы передовые. Бату верхом впереди да Субудэй с темниками своими. Весь лес наполнился ими. Остановились затем, покружились на месте, раскинули стан. Я хотел было скакать сюда, да решил сумерек дожждаться. После полудня снялись они, на коней повскакивали и развернулись в сторону озера. Тысячи две, а может быть больше. Не всё их войско шло, а только сам хан со своей свитой и молодыми джегунами.

– Что дальше было?

– Как исчез из вида последний всадник, я коня своего направил к тому месту, где их лагерь стоял. Снег вытоптали аж до черной травы и прелой листвы прошлогодней. А вот это я со старой берёзы снял. На ветке болталось. Видать, оставили, чтобы не заплутать в лесу.

Воин вытащил из-за пазухи и протянул князю маленькую войлочную фигурку на тонком плетённом шнурке - не то странный зверь, не то человек с златотканым кармашком, бусинками и беличьим хвостиком.

Князь удивился и долго рассматривал оберег, который принадлежал монгольскому юноше, назвавшемуся сыном Бату-хана. Значит, не обманул отрок надежд Александра, повёл отца на исток Волги посмотреть. И отклонился от Новгорода уже почти занесённый над ним меч.

А что потом будет? Один Бог знает. Надо ждать.

До начала лета, пока сходили талые воды и просыхали болота по обе стороны Серегерского тракта, Бату развернул своё войско и дошёл до Киева, где до того княжил отец Александра Ярослав Всеволодович. Но с Батыем они не свиделись, так как князь отправился во Владимир сразу после вести о героической гибели брата своего Юрия Всеволодовича у реки Сити. Вот в то время и прошлись монгольские багатуры со своими туме-нами по южным русским землям. Но прежде Саин-хан отослал своего сына Сартака обратно в столицу Золотой Орды Сарай-Бату, подальше от кровавых битв.

У старой берёзы, где отчаянные новгородские дружинники сразились насмерть с псами-нукерами передовых отрядов Субудэя, соратники из свиты княжеской поставили и освятили крест, воздав почести храбрецам-русичам.

А про Новгород с тех пор монголы будто позабыли. Не тронули удел молодого Александра Ярославича. Видать, отмолили новгородцы себе передышку мирную.

Совсем ненадолго.



Новая Москва

Не узнаю Манежную,
Кольцо не узнаю.
Зато столицу прежнюю
Я помню и люблю.

Прощаемся с хрущёвками,
Где каждый дворик свят,
Элитными постройками
Теперь сияет град.

Кругом порножурнальчики,
Кругом души обман.
Компьютерные мальчики
Ушли в наркотуман.

Под пиво с сигареточкой
(Зачем им Пифагор?)
Девчонки-малолеточки
Ведут свой разговор.

Про все прикиды модные,
Про пирсинг и тату,
И вижу я холодную
В глазах их пустоту.



Николай
ФАЛЬКО

Поэзия



Москва иноплеменная,
Торговые ряды...
Вставай, страна огромная!
Но только нет страны.

Русь пьющая, гонимая...
Спаси, спаси нас, Бог!
Смотри, земля родимая
Уходит из-под ног.

Я судьбу никогда не кляню

Я судьбу никогда не кляню,
Хоть её называют злодейкой.
Я свои кирзачи натяну
И по свету пойду в телогрейке.

Улыбается солнце с утра,
Воздух свеж, золотисто морозен,
Лёг, как сон, невесомо вчера
Снег на плечи зелёные сосен.

Как приветлив сияющий лес,
На снегу – долговязые тени.
В этом царстве берёз я воскрес,
Преклонив пред Всевышним колени.



Жадно в небо смотрю, жду весну,
Верю в счастье, а как же иначе...
Я судьбу никогда не кляню,
Даже если я горько заплачу.

Берег Вечности

Души задумчивой скитанье
По лабиринтам бытия...
В чём сущность моего признанья?
Зачем живу на свете я?

Мой трудный путь лежит далече,
Его укрыли свет и мгла.
И так призывно в этот вечер
Звонят судьбы колокола.

Я вижу травы в лунных росах
И слышу ангелов полёт.
В руке сжимаю веры посох,
Смелей, душа моя, вперед!

Туда, где высоко над нами
Сияет звёзд иконостас,
И за седыми облаками
Ждёт берег Вечности всех нас.

Забытая душа

Знакомые звуки рояля,
В саду полуночная мгла.
Рука молчаливой печали
На сердце мне тихо легла.

О, детства далёкие грёзы,
У речки стреноженный конь...
Смахнула с щеки моей слёзы
Холодного ветра ладонь.

Седой весь, о прошлом тоскую,
Пришла покаянья пора.
Как много дней прожил я всеу,
Как мало я делал добра.

Чернильные сумерки сада,
Печаль облетевших ветвей.
Не гасни, не гасни, лампада
Надежды и веры моей.

Стою окаянный и грешный,
Прошедшую жизнь вороша,
А где-то в груди безутешно
Забытая плачет душа.



Свечи венчальные

Не забыть грустный снег под ногами
И тебя не забыть никогда.
Как венчались с тобою мы в храме...
Думал я, навсегда, навсегда..

Хор церковный пел «Долгая лета»,
Мне мелодия в сердце вошла.
Неужели забыла ты это?
Оглушён – как ты просто ушла.

Ах, как больно душе в этот вечер,
Нет, не верю... Скорей позови!
В доме плачут венчальные свечи
По умершей любви.

Вьюга

Всю ночь с ума сходила вьюга,
Вздымая к небу снежный прах.
И лес, клонясь к земле упруго,
С трудом держался на ногах.

В испуге вороны метались,
Пророча криком бездну бед.
Не потому ль, что мы расстались,
Сошёлся клином белый свет?!

О, эти стынущие звуки,
Холодных комнат неуют,
Где обречённые на муки,
Покоя мысли не дают.

Где пол я меряю шагами,
В полночный час забыв о сне,
Где щель в оконной старой раме
Поёт о чём-то счастье мне.

Первый снег

Над ладонями пашен,
Осветив новый век,
Лепестками ромашек,
Закружил первый снег.

Снег летит робкий, нежный
И желанный такой.
На душе – безмятежно,
Хоть от радости пой.

Снег, как чистая совесть.
Я к нему – всем лицом...
Снег, как светлая повесть
Со счастливым концом.



Повелитель Гольфстрима

Широко раскинулась держава российская, словно бычья туша распласталась по планете. Морями двух океанов омывается, головою льнет к Европе, брюхом давит Азию, огузком подпирает Америку. Тысячи верст — ни объехать, ни оглядеть. И чего только в ней нет! Каких только сокровищ не сокрыто! И вод пресных, и лесов дремучих, и зверя дикого, и птицы великое множество. И спит держава российская, и видит во сне, что покрыла собою весь мир, и принесла утешение всем народам. А пока она грезит, окрест нее скалятся злые недруги. Но недремлющим оком хранит покой империи неустрашимая Армада; и пока есть в Армаде мощь и сила, мирно спит держава российская...

Конец восьмидесятых...
Пятьсот верст до Хабаровска.
Железка петляет в низине. На



**ОЛЕГ
СОЛДАТОВ**

Проза



холме, как чумное городище, стойко загибается воинская часть. С водой туговато. Скважину пробурили заковыристо, по мерзлоте чудно в тех краях подземные токи устроены. Угодили под свалку городскую. Половину гарнизона как срезало. Полный комплект, от дизентерии до желтухи... Тогда-то и снарядили водовозку, ЗИЛ-130, чтоб воду возить с городской водокачки. Машина гнилая, обшарпанная, слышать ее издали — глушитель потерялся на пляшущих дорогах — заводилась с рычага, фар нет — в темноте хоть фонарем свети; за грохот и треск окрестили в полку это слепое чудище Трахомой.

Дали сержанту Казакову под команду водителя, узбека Эбытая, и на Трахоме в город за водой послали. По одному ездить не дозволено, случилось, пропадали люди вместе с машиной... Да и с запчастями беда, а народцу лихого вокруг, что грибов: тут и свои служивые, и бывшие зеки на поселении, и бродяги — корейцы с китайцами. Проще тормознуть машину на пустынной дороге, водителя оприходовать и с обрыва, а машину по винтику... Потому и ездили по двое, по пути никого не подсаживали.

Казаков парень крепкий, русак, щеки алые, нос уточкой, сила бычьья. И весу в нем пудов шесть, и росту немалого — головой в потолок кабины «зилка» упирается. Эбытай маленький, щуплый, над рулем одну голову видать да глаза косые испуганные. Словом, тот еще экипаж.



Выехали в сумерки. Мгла на небе — в тех краях дело обычное. Трахома хоть артачилась и чихала, а все же дотащилась кое-как до города.

А на водокачке ядреная кума-хохлушка делами заправляет, вентиль крутит. Издалека слышать, как она кроет кого-то по-матерному... Таких словесных выкрутасов Казаков и от местных каторжан не слыживал... Подъехали ближе, а там корейцы заправляются. Они тут геройствуют на лесоповале — лес метут подчистую, даже опилки, кору и опавшую хвою отчизне отгружают. Грязные, чумазые, как черти, одеты в дичайшую рвань, на ногах ветошь, но у каждого на груди, у сердца, значок с портретом Ким Ир Сена. Машина у них — корейский МАЗ, лихо одноглазое, лобовое стекло только у водителя и есть, остальные окна фанерой наглухо заколочены, из той фанеры закопченная выхлопная труба торчит, ею и обогреваются. А цистерна для воды вся из лоскутов и заплат, словно из старых самоваров слеплена — там вмято, здесь выпирает. Будто толпа корейцев разом варила, и каждый, что нашел в овраге, то и притащил, и приварил. Вышла жеваная мочалка из железа. Люка нет вовсе, а на месте горловины словно консервным ножом кривая дыра прорезана. В ту дыру гидрант опущен, и вода в две атмосферы хлещет. Наверху у дыры сидит маленький щуплый кореец и влюбленными глазками, как на чудо неземное, смотрит на куму-хохлушку. В таежном краю женщина — существо редкое, заповедное, а для корейца, который едва по ватерли-

нию хохлушкиной груди росточком, и подавно. А ей чуть за тридцать, румянец во всю щеку, плечи белые, груди наливные, бедра покатые, ноги — крепкие стволыки... И кроет она корейца при такой богатой натуре на чем свет стоит. Только не действуют слова. Глядит кореец не отрываясь, улыбка счастливая во весь рот. А той не по нраву, что пялится на нее какой-то «недоносок желторылый, недovyкормыш, и за человека-то посчитать нельзя, одно слово — обезьяна, чемурза немытая», а туда же — к женскому полу подбирается... В сердцах выкручивает она вентиль-штурвал на полную мощь, бьет фонтан из переполненной корейской посуды, и корейца, словно муравья, смывает в подбрюшье под колеса. А через миг, глянь, уж он опять наверху, вода с него потоками, как с туманганского водяного, а все лыбится...

С грохотом завелась, черным едким облаком пыхнула, откатила корейская колымага, а тот корейчонок верхом на бочке сидит, кумехохлушке ручкой помахивает...

Матернулась кума ему вслед беззлобно для острастки. А как иначе? Опустить глаза или в смущение войдешь, ночью приползут всем корейским муравейником — не отобьешься...

Заправили и канистру Трахомину, да и в обратный путь. Но не разберешь тамошнюю погоду. То солнце, то вдруг буря, шквал, потоп. Холод и ледяной ливень стеной. Дорога петляет по холмам, слева гора, справа обрыв, внизу железка.



Фары не горят. В трех метрах ничего не видеть. Казаков говорит Эбытаю:

– Давай через город, напрямую. А не то кувыркнемся с горы, к такой-то корейской матери, как раз на железку... А по городу дорога прямая. Доедем как-нибудь. Нам хоть в город и нельзя, но в такую погоду кто остановит? Все попрятались, никто и носу не кажет...

Крутанул руль Эбытай, въехали в город. Еле плетутся, дороги не видно, дождь по кабине стучит, дворники молотят: вжик-вжик... Встать бы и стоять, переждать, пока утихнет стихия. Да только кто знает, сколько потоп продлится? Сутки или трое... Не зря говорят: «Едь пока едется». Встанешь, того и гляди в тебя сзади кто-нибудь вмажется. А полку вода нужна. Ни поесть без воды, ни умыться... Хочешь не хочешь, а ехать надо. Вдруг – стоп! Посередеь дороги памятник стоит. Руки в стороны раскинуты, как крылья у мельницы, пальцы растопырены, ноги расставлены во всю ширину. Фуражка, плащ-палатка на нем, сапоги. Пригляделись, похоже, офицер. Замер пятиконечной звездой, течет с него, как с утопленника. Видно, погибает человек. Услышал Трахому, встал поперек дороги и застыл.

Казаков командует Эбытаю:

– Тпру-у...

Тот и сам остановился, без команды сообразил. Затащили дядю в кабину, а он и лыка не вяжет, пьяный в дым, но счастливый до крайности, аж раскраснелся весь от удовольствия.

– Хлопцы, – мычит, – спасибо, родные, спасли, а то уж и холодеть начал... Мне тут недалече, завезите по дороге... – А у самого глазки поросычьи так и зыркают, перегаром, как дракон, разит, на не по уставу одетого Казакова косится... – Куда, воины, путь держите, коли не секрет? – спрашивает.

– Воду везем в полк, – разъясняет Казаков. – Какие секреты...

Тот хрюкает в кулак, не то давится, не то кашляет, простыл, видать, сильно.

– Ну-ну, – бормочет.

Едут, и точно, недалеко. Подъезжают к высокому забору.

– А что, ребята, может, зайдете? – ласково предлагает дядя. – Чайку попьем... Глядишь, погода притихнет. А то на вашем батискафе и крякнуться недолго... Да и намерзлись, небось?

Солдату служба – не сахар. А за ласку он и на подвиг готов. Полчаса-час – не время, а у солдата вся служба впереди...

Только въехали за ограду, как вдруг хмырь этот шасть из кабины и орет кому-то в темноту:

– Закрывай ворота!

Тотчас вспыхнули прожектора на вышке. Автоматчики Трахому на прицел берут. Оказалось, то гарнизонная гауптвахта, а дядя – ейный комендант.

Шагнул он под бетонный козырек, а там уж рядом с ним бугай с автоматами.

– Вылазьте, – говорит, – попались, голубчики!

Завели Казакова с Эбытаем в душную, пропах-



шую кирзой дежурку. Вот стоят они, как сироти-нушки, а хмырь перед ними гоголем расхаживает. Вся приветливость с него мигом сошла, как со змеи кожа. Поймал-таки добычу, выловил преступников. Сам росточка небольшого, морда лоснится, усы торчком, буркалы вылупил. Перегаром совсем уж нестерпимо пыхает. Видно, еще стакан хлопьям быстнул по прибытию.

– Кто такие?! – вопит. – Какой части?! Откуда-ва?

– Сержант Казаков, 113-ый отдельный Красноярский учебный железнодорожный полк, – по форме рапортует Казаков. – Обеспечиваем водоснабжение части.

– А-а! Знаю я этот полк... – ехидно цедит капитан. – В город, небось, за водкой ездили? Я про вашу глушь слышал, все перепились, за водкой в город машины гоняете...

– Товарищ капитан, – отвечает Казаков, – часть без воды пропадает, а касательно прочего, то полк наш на хорошем счету и бригадное знамя у нас хранится...

Но капитан попался тертый, жалостью не проймешь.

– Вы, – говорит, – сержант, нарушили приказ! Вам кто позволял ехать через город? Да знаете ли вы, что ежели всякий водовоз начнет приказы нарушать, то америкосы придут и нас голыми руками схавают?..

А Казаков глядит на двух откормленных мордочек возле двери и гадает, когда ж их мутузить

примутся? Это ж первое дело, коль попался... А те уж на изготовке, кулаки сжаты, зубы стиснуты... И как есть, честно отвечает:

– Никто не позволял, товарищ капитан... Мы это по необходимости. Обездом на Трахоме... извиняюсь, на нашей технике по такой погоде никак не проехать. А нам рисковать нельзя. Полк без воды остался, люди погибают, на нас вся надежда...

А люди и впрямь подобрались в полку со всех концов и окраин: из Средней Азии, с Кавказа, из Прибалтики, многонациональный был полк, по диаспорам и кучковались, и дрались меж собою так, что все сметали кучей-малой. Выдернет сержант из этакой кучи какого-нибудь драчуна за ремень, откинет в сторону, а тот на карачках обратно ползет. Добавит сержант ему сапогом под ребра и следующего вытягивает...

– Что ты мне Лазаря поешь, сержант? – шипит капитан. – Да ты знаешь, кто я? Понимаешь, куда попал? Да я тебя тут закопаю, и никто не хватится! И никто мне даже слова не скажет! Я здесь никому не подчиняюсь, кроме командующего!.. Да я ваших полковников...

– Вы большую власть имеете, товарищ капитан, – робея, соглашается Казаков, – вам по-другому и невозможно, такая у вас должность ответственная, вся дисциплина в округе на вас держится...

– А ты как думал, сержант? С вами иначе нельзя. Вы по-хорошему не понимаете. А отутюжишь вас по полной программе, тогда вы в разум входите



начинаете, и то ненадолго. Да ты знаешь, каких я людей допрашивал? Генералы рыдали, сапоги мне целовали... Так что готовься, сержант, капец тебе... Родные есть?

– Есть, – двинул кадыком Казаков, – мать в Москве.

– В Москве?.. Ну вот, заплачет мать-старушка... Спрашиваю последний раз, что делали в городе?.. Молчим? Так... Значит, правду не хотим говорить? Будем дурочку валять, да?.. Ну-ну...

Оказавшись после ледяного потопа в жарко натопленном помещении, капитан заметно «поплыл»... Прищуренные глазки его совсем осоловели.

– Значит так, – заплетающимся языком пробубнил он, – говорите быстро, где у вас в машине водка спрятана... Признаетесь – будете жить. А нет – кранты вам... Знаю я, зачем вы в город ездите... Думали, проскочить мимо постов в непогоду. Ан нет... Не на тех напали...

– Товарищ капитан, – отвечает Казаков, видя, что капитан пьян в дрезину, – никакой водки сейчас у нас, честное слово, нет. Но завтра обязательно будет...

Капитан утробно хмыкнул.

– А знаешь, сержант, какая сейчас в мире обстановка? А ты советскому офицеру – водки! Каково это будет, если прикинуть в международном масштабе, а?

– Товарищ капитан, – оправдывается Казаков, – сами знаете, с вод... то есть с международным

положением сейчас очень туго, практически безнадежно... Но одну добудем...

Водки в ту пору действительно было не достать. В сухой закон цвело самогонование. Гнали из всего, чуть не из солдатских портянок...

– Две привезешь, по пузырью с носа, – отрезал капитан. – Но чтоб завтра, понял?

– Так точно!

Капитан, казалось, слегка потеплел. Ласково поглядел на Казакова и произнес с иронией:

– Ты думаешь, я тебе поверил? Думаешь, надул капитана? Наобещал сто куч, а сам за ворота и поминай как звали?.. Не-е-ет... Я тебя, гада, где хошь достану! Не спрячешься!.. А я вот все-таки что думаю: водка у вас в машине где-то есть... Но вы, засранцы, надеетесь, что я ее не найду. И напрасно... Сейчас мои архаровцы пошерстят и отыщут, тогда прощайтесь со своими мордами месяца на два... А я пока с вами политзанятие проведу. – Капитан ухмыльнулся, подошел, качаясь, к единственному украшению комнаты – плакату «Форма одежды женщин-офицеров военно-морского флота» и, не глядя, ткнул в середину композиции: – Вот, к примеру, карта мира!.. Слева мы, справа америкосы. – Потом двинул пальцем вверх, к берету. – А здесь Берингов пролив. Так вот, через ентот самый пролив проходит гигантская впадина и гряда... – Палец капитана пополз вниз. – Из-за этой суки-впадины Гольфстрим течет не так как надо, и у американов в Калифорнии климат больно хорош... А что



делать?!.. Никто не знает... Многие головы ломали... Все без толку. А есть у меня план... надо в энту гряде в трех местах заложить по мегатонне и рвануть — все! Рельеф дна изменится, Гольфстрим иначе повернет — у нас тепло, у них морозы!.. И воевать не надо!..

Казаков кивает, хоть и помнит, что Гольфстрим в другом полушарии, но с чем угодно готов согласиться, даже с тем, что Эбытай — инопланетянин, а Эбытай рядом стоит, ресницами хлопает.

— Хороший план, товарищ капитан, — одобряет Казаков, — стратегический. Здорово вы это придумали. Только нельзя ли сообщить в полк, чтоб нас не ждали, а то часть без воды пропадает...

Капитан хотел еще что-то добавить, но передумал, вернулся к столу, снял трубку и кривым пальцем накрутил номер.

— Ладно, черт с вами... Алле... Говорит комендант гарнизонной гауптвахты капитан Мамыкин. Кто у аппарата?.. Ага... Товарищ полковник, мною задержаны ваши бойцы и машина. Следовали в нарушение приказа... Что?.. — он брезгливо поморщился, отвел трубку от уха, косясь на нее, как на дохлую крысу. Такое же выражение случается порою встретить на лице какого-нибудь обывателя, если по весне, неосторожно ступая по лишенному снега газону, он негодуя помянет-таки всех местных собак заодно с их хозяевами... В комнату трескучим потоком полилась матерная брань начштаба полка Черепа, прозванного так за бритую голову. «К-какого х..! — заикаясь, кричал

Череп. – Полк ждет воду! К-капитан, вам что – погоны надоели?! Н-немедленно отпустить!..» Мамыкин сперва слушал, затем, побагровев до кирпичных тонов, разинул щербатую пасть и, плюясь в трубку, заорал: – Я вам не подчиняюсь, полковник!.. – Ошалев от собственной храбрости, он бережно опустил трубку на рычаги и несколько секунд, вытаращив глаза, пробыл в полной неподвижности, с лицом впавшего в анабиоз идиота... Наконец какая-то дикая мысль блеснула в его глазах, он встряхнулся, как мокрая собака, прорычал: – Этих в камеру! Я проверять посты! – Схватил едва обсохшую плащ-палатку и, не глядя на арестантов, нырнул в бурю.

Мордovorоты развели Казакова и Эбытая по разным концам коридора.

Камера, в которую втолкнули Казакова, походила на пенал длиною три метра, высотой два с половиной и шириной метр двадцать, она уже приняла в себя пятерых разношерстных вояк, зажатых меж стен, как карандаши. Один был в танкистском шлеме. Казалось, места больше нет, и пятерым тесно.

– Ну и куда я тут лягу? – спросил Казаков конвоира, на что получил тычок в спину, дверь захлопнулась, и стало темно.

Казаков наудачу лег, втиснулся меж спрессованных вытянутых тел и неожиданно провалился до холодного бетонного пола.

– Каждые полчаса по команде переворачиваемся на другой бок, – недовольно проворчали ему в



самое ухо, – а то замерзнем.

Часа через два, продрогшего до костей Казакова подняли и отвели в дежурку. Там его встретил полковник Череп. Обрадовался Казаков, увидев его приплюснутый нос и лысую голову.

– В чем д-дело? Докладывайте, – заикаясь, проворчал Череп.

– Докладываю, товарищ полковник, на пути следования обнаружили замерзающего офицера Советской Армии, оказали помощь и были арестованы.

– Понятно, л-лоботрясы... Зачем брали? Офицеры Советской Армии просто так не з-замерзают... Старшина, – кивнул он дежурному, – оформляйте освобождение.

– Не могу, – пробормотал тот испуганно, – без разрешения товарища капитана...

– А где твой капитан?

– Посты проверяет.

– Б-бардак! Ну, ждать некогда. Д-дай-ка телефон.

По телефону Череп связался с командованием округа, переговорил с кем-то и протянул трубку дежурному:

– На, слушай приказ г-генерала.

Старшина осторожно приник ухом к трубке, побледнел, пискнул: «Есть!» и потянулся за ключами.

Ливень не утихал. Что значит провернуть под

ледяным дождем коленивал Трахома – дай бог узнать каждому. Щуплый Эбытай и в хорошую-то погоду пол-оборота не мог сделать. Трахома завелась на восьмом, Казаков прыгнул в кабину, машина дернулась и заглохла.

– Убью гада! – хватаясь за кривой рычаг, крикнул Казаков, выскочил вслед за Эбытаем и пару кругов намотал за ним вокруг Трахомы. Эбытай верещал, как заяц.

Со второго раза Трахома тронулась с места и, вслед габаритным огням полкового уазика, покатила за ограду.

Дождь не унимался и глубокой ночью. У городской теплотрассы дорога шла вдоль труб, потом круто забирала вправо и вверх по насыпи.

– Вырулишь? – с сомнением спросил Эбытая Казаков.

Эбытай обиженно засопел.

– Точно вырулишь?

Казаков высунулся из окна, освещая размытую колею фонарем. Красные огни уазика качнулись и поползли вверх. Капот Трахомы стал задираться. Эбытай прижался к рулю, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте.

– Стой! – успел крикнуть Казаков, видя, как правое колесо Трахомы повисает в воздухе.

Но Трахома плавно качнуло, и сперва нехотя, а потом все быстрее, она покатила с края насыпи. Высокий Казаков уперся ногами в пол, плечами в сидение, а маленького Эбытая крутило, било и швыряло, как лягушку. Стекла с хрустом лопнули



и осыпали бойцов колючей мокрой крошкой. Сделав два полных оборота, машина замерла днищем кверху.

В крошечной тьме громче зашумел дождь. Вращая колесами, гудела Трахома.

– Цел? – спросил Казаков.

– Вроде цел... вай... не пойму, – проскулил Эбытай.

– Глуши мотор! Взорвемся...

– Как? – Все позабыл контуженный Эбытай.

– Ключ вынь!

Эбытай вынул ключ. Трахома зашипела и смолкла, дождь застучал сильнее. Сверху, из пробитой цистерны ручьями бежала вода.

– Дверь открывай!

– Не могу...

Дверь заклинило и у Казакова.

– Через окно лезь!

– Вай... Не пролезаю...

– Лезь через лобовое!

Эбытай выбрался через лобовое окно, следом полез Казаков. Стараясь не запачкаться, из-под капота полз ногами вперед, на пальцах. В это время на помощь подоспели Череп с водителем уазика, схватили за ноги, дернули и, лицом протаскив по мерзлой жиже, выволокли наружу.

– Живой?

– Кажись...

Грязные, перемазанные сели в уазик, закурили.

– Повезло вам, идиотам, что цистерна полная, а

то бы смяло кабину, – проворчал Череп. – А Трахому все равно давно списать пора б-было... Ржавыми сенокосилками воюем, а нормальная техника на складах п-пылится...

Казаков хрюкнул, нервный смех неудержимо затряс его. Оглянувшись, удивленно посмотрел на него Череп и промолчал.

Утром гусеничный тягач поставил Трахому на колеса и отбуксировал в часть. После ремонта она повадилась сильно косить влево, так что Эбытаю приходилось крепче держать руль. Погнутой рамой, помятостью и ржавостью своей она стала походить на корейский МАЗ, но ее не списали, а еще долго возили на ней воду.



Луна Геннадия Айги

Луна Геннадия Айги –
Сына грозного гунна –
Сияла щитом победным,
Медным горела огнем.

Ее ореол, обрамленный
Синих бус сединою,
Затмевал своим блеском
Белых коней грозы.

Она так ярко светила,
Что в темном-темном поле
Пламенели ледяные свечи,
Снежные звенели бубенцы.

Они навевали сновиденье,
А дурак в колпаке потешался:
«Куда, куда же вы мчитесь?
Ведь сон – тут, а виденье – там!»

И луна падала в колодец
Заговоренным алтыном,
Желая на дне укрыться,
Забиться подземным сном.

Приходило к колодцу время,
Беззубо шамкало днями,
Денно-нощно, денно-нощно
Ворошило по дну кочергой.



**ЕВГЕНИЙ
ЛУКИН**

Поэзия



«Золотая луна гуннов! –
Во мгле колдовали мгновенья. –
Подари хоть немного света,
Лампочку под потолок!»

Но зря ворожило время,
И мгновенья тщились напрасно:
Как лед, расколось отраженье,
Чистый замутился родник.

«Ха, ха, ха! – хохотал до упада
Дурак в колпаке бубенцовом. –
Посмотрите, что вы натворили:
Теперь сон – там, а виденье – тут!»

И привиделось: в темном небе
Сияет щитом победным,
Медным огнем пылает
Луна Геннадия Айги.

А вокруг седого ореола
Бродит святой Авраамий,
Сквозь болгарские бури
Благословляет крестом.

И слышен молитвенный шепот
В белом Воскресенском храме:
«Как снег Господь что есть,
Как снег Господь что есть,
Как снег Господь что есть,
Помилуй, Господь, меня!»



Сербские мотивы

1. Хождение на Фрушскую гору

Александр Шего

Его мать была русской.
Его отец был сербом.
Ему пришлось стать толмачом –
Переводить между матерью и отцом.

Мы восходили с ним
На святую Фрушскую гору.
Мы бродили с ним
От монастыря к монастырю.

По дороге он учил меня
Читать сербские книги:
Как написано – так и читай,
Как задумано – так и говори.

В одной обители нам посчастливилось
Побывать на крещении младенца.
В другой обители мы полюбовались
Торжественным обрядом венчания.

«Боюсь, что в третьей обители
Мы окажемся на отпевании», –
Мрачно пошутил он,
Переводя дыхание.

И тогда мы пошли в вертоград,
Что раскинулся между церквями,

Лакомиться голубым виноградом,
Собирать ореховую опадь.

«Опавший орех подобен слову, –
Толковал мой переводчик, –
Его надо нащупывать подошвой,
Как нужное слово – языком».

Возвращались мы с Фрушской горы
Поздним осенним вечером.
В моей переметной суме
Позвякивал грецкий словарь.

«Славный выдался денек, –
Подумалось на прощанье, –
Я научился читать по-сербски
И переводить с грецкого».

Бегство от забвения

Милене Тепавчевич

В Карловцах мы возлагали венок
К памятнику Савве Рагузинскому.
Оратор назвал это действие
Бегством от забвения.

Воистину: мы бежали от забвения,
Как бежали древние иудеи
От египетского фараона
В поисках земли обетованной.



Я вспомнил, что тоже колесил
В поисках таинственной мызы,
Некогда подаренной Петром I
Доблестному Савве Рагузинскому.

Эта финская мыза Матокса
Затерялась в карельских лесах
На обочине окольной дороги,
Ведущей к Санкт-Петербургу.

И вот я разыскал дивный луг,
Обрамленный лесным орешником.
Когда-то здесь высился храм –
Его возвел хозяин мызы.

А теперь высокая трава
Заполонила священное пепелище.
И лишь чудесный золотой венец
Сиял над ней в утренней дымке.

Я пошел через эти заросли,
Раздвигая стебли руками.
Предо мною предстал деревянный крест,
Осененный солнечным венцом.

А с другой стороны луга
Двигался навстречу косарь,
И высокая трава забвения
Падала к его ногам.

Приблизившись, он сказал мне:
«Бог даст, храм восстанет из праха,
А пока пусть хранит это место
Святой православный крест».

Когда мы возлагали венок
К памятнику Савве Рагузинскому,
Моя спутница вдруг обмолвилась:
«Венок сербы называют венцом».

Воробушек

Летел воробушек
На далекий остров.
Там была пещера памяти
И цвел вечный кипарис.

Летел над городком
Кофейных мельниц,
Ледяных кувшинов
И библейских стихов.

Трепетал крылышками
Над ратушной площадью,
Где кружились пичужки
Мелкими чаинками.

Выходили из ратуши
Иосиф да Марья:
– Милости просим
К нам на чаепитие.



– Разве так приглашают? –
Обижался воробушек.
– Просим не на чаепитие,
Просим на тайную вечерю.

– Почему так? – удивлялись
Иосиф да Марья.
– Потому что жизнь кончилась,
Началось житие.

Летел дальше воробушек,
Трепетал крылышками
Над лютеранской кирхой,
Над лазоревым крестом.

Выходили из кирхи
Иосиф да Марья:
– Милости просим
К нам на похороны.

– Разве так приглашают? –
Обижался воробушек.
– Просим не на похороны,
Просим на воскресение.

– Почему так? – удивлялись
Иосиф да Марья.
– Потому что время кончилось,
Началась вечность.



Подлетал воробушек
К далекому острову,
Где была пещера памяти
И цвел вечный кипарис.

Выходили из пещеры
Иосиф да Марья,
Поднимали головы
К синим небесам.

– Что за птичка порхает там?
Что за сизокрылая пташка?
– Мандельштам, Мандельштам,
Мандельштамушка.



Правда и блаженство (Отрывок из романа)

I

В России наступали злое-
щие времена.

Бровастый генсек Леонид
Ильич почил в бозе. Вся
страна вздрогнула, когда гроб
Брежнева грохнулся о бетон-
ный пол могилы у кремлев-
ской стены; всем показалось,
что могильщики гроб урони-
ли. Наступил краткий срок
андроповщины. Воцарясь в
Кремле, бывший первый
гэбист Юрий Владимирович
раздербанил милицейскую
вотчину Щелокова, дисципли-
нарными подпорками и
окриком решил подпереть
подгнивающий социалисти-
ческий дом, но уже сам разру-
шался изнутри, лишенный
почки. Скоро на том же лафе-
те, что и Брежнева, Андропова
сvezли на задворки мавзолея.

Тут в истории величествен-
ной державы, которую
неустанно подтачивал амери-
канский империалистический
короед, случился конфуз: на



**ЕВГЕНИЙ
ШИШКИН**

Проза



самый верх власти всплыл, будто полуживая мумия, бесцветно-бледный, с едва шевелившимися губами Константин Устинович Черненко. Пост, вероятно, повлиял на него ошеломляюще — обвалом, стрессом, — и приблизил старческий исход. Вскоре над Красной площадью опять зазвучал траурный шопеновский марш. Здесь было и вздохнуло Отечество с надеждой, видя на мавзолее, в центре трибуны, человека вполне дюжего, посмертную речь читающего без запинки, с чуть гэкающим южно-русским выговором. Лишь одна деталь навевала какую-то неловкость за этого круглолицего, лысоватого человека...

Коленька, увидав в телевизоре Горбачева, разразился истерическим приступом. Коленька словно знал этого человека, стал тыкать пальцем в телевизор, в голову, где пятно, и испуганно шептать:

— Вот он! Я же говорил вам! Вот он... Дождались! Ну теперь все, дождались... Я-то знал. Вот же он. — И Коленька, очумленный встречей с новым генсеком, тыкал и тыкал ему в телевизионный безволосый череп, на котором буровело аляповатое пятно.

Всем было известно, что Коленька еще много лет назад был напуган до смерти пятном помета, который оставил ворон Феликс, и после всегда боялся всевозможных пятен — на земле, на полу, на одежде... Но здесь пятном был помечен человек, забравшийся на первый чин в стране.

— Мишка-то, выходит, меченый...

— А на портретах его без пятна выставляют.



– Что-то тут не так.

– Кривых, рыжих и меченых к власти подпускать нельзя. В старые времена, говорят, указ такой был. Иваном Грозным писанный...

Затаив в сердце надежду на лучшую долю, всяк гражданин огромной страны следил за каждым шажком и шагом нового лидера. Лидер этих шажков и шагов не скрывал: объявил «гласность» во всем и замахнулся на «перестройку».

Год-другой – и политика новой власти стала выворачиваться безобразной изнанкой: тут и развратный шанс легкой поживы, и животный, тупорылый, окраинный национализм, и..., и..., – и на шестой части суши зароптал обманутый простой люд, затрещали швы некогда условных границ республик.

– Я, мужики, вчера сорок пять минут речугу Горбатого в телевизоре слушал. Ничё не поймал. Гольный порожняк!

– Господь пятно на плешину только идолам сажает...

– Да-а, Бог шельму метит. Все виноградники порубил, козлина.

– А сучку-то свою, Райку, в какие меха обряжает!

– Она им и водит, як теленком безмозглым.

– По талонам сахарный песок выкупить не могу. Нигде нету!

– Курево пропало.

– Да чё курево? Мыла нету ребенков помыть!

– Говорят, соль пропадет.

– В армии солдат нечем кормить. Кто чего

скоммуниздит, то и едят.

– Хуже, чем в войну.

– Дак, конечно, хуже! В войну голодно было, зато народ-то весь вместе. Друг дружке помогали. Нынче все злы.

– Как добрым-то быть. Одни вона как воруют, кооперативы-то, а другим – шиш.

– Опаньки-опа! – живо откликнулся на такие мужиково-бабские речи Череп и заявлял с видом бывалого рыбака, который глядит в пустой невод, вытащенный из моря: – Ели-пили – всё нормально, но обкакались все буквально...

Никто не уточнял, в какую сторону направлена его извивистая мысль, но все понимали, как она верна. Мужики, разумеется, свергивали цитаты Черепа на свой лад, а именно по части отнятой у народа выпивки.

Более всех страдал на улице Мопра в те безалкогольные, «лимитные» годы Карлик. Он не мог обойтись без водки. Всю свою жизнь, начиная с совершеннолетия, он потреблял этот, по его словам «замечательный напиток», потреблял с удовольствием, никогда не ограничивая желание, не скрывая и не стыдясь этого желания; он даже был чуть жадноват до водки, ежели она выпадала ему на полную халяву, но он не числился подзаборным алкашом, был настоящим профессиональным пьяницей, и появление в стране талонов на водку, перебои с поставками этого продукта приводили Карлика в страшное раздражение, в бешенство; он готов был разорвать Горбачева в



ключья, и если где-то поблизости слышал это имя, а оно в ту пору ходило по всем устам, обзывал генерального секретаря такими словами, от которых слегка коробились даже матерые матерщинники.

– Горбач – это же тварь высшей марки! Водку отнять у народа – да такого гнойного педрилу надо в уборную башкой...

Дорываясь, однако ж, до вожделенного напитка, Карлик размякал; и тело, и душу отпускало, вновь и вновь открывался цветистый веселый мир, и хотелось в нем смеяться, как в цирке над репризами клоуна Карандаша, которого Карлик знал самолично, с которым выпивал однажды и которого почитал за циркового гения; Карандаш тоже обожал водку и ростиком был лишь не намного выше Карлика. Водка давала легкость и простор; горбачевская власть принесла талонную систему почти на все необходимое...

Винно-водочный отдел магазина, отгороженный от остального зала металлической решеткой из арматуры, гудел ульем. Гуд мужиков устроился, когда разнеслось, что водка на исходе.

– Сима! Токо по две бутылки в руки давай! – кричали мужики, те, что в конце очереди, – очереди, превращенной в слитную мужикову массу, – массу, втиснутую в обрешеченный квадрат торгового отдела.

– По одному талону отоваривай! А то, ишь, наберут десяток!

– Я два часа стою! С ночи, што ль, очередь занимать?

– Мне на поминки – десять бутылок! По закону!

– По какому-такому закону? Пятнистый, что ли, насочинял?

Брань, препирательства, всеобщая злоба...

Карлик обычно ловчее других пробирался к прилавку. Со своей наглостью и своим малым ростом он протирался между рослых здоровяков, иной раз, как ребенок, прошмыгивал между ними на уровне ног. Однако нынче водка заканчивалась, и поблажек Карлику не видать. Нынче он сам голосил, чтоб водку — только на один талон в руки и чтоб всем поочередно, без льгот для разных там ветеранов и инвалидов.

Духоту и гомонливый всеобщий напряг в винном отделе запалил, будто бикфордов жгут, мужик, который на поминки все ж выкупил положенные десять бутылок. Он выбрался из толпы с воздетой над головой бесценной авоськой, — и мятый, и злой, и вместе с тем радостный, что выбрался отоваренный. Толпа же, будто у нее изпод носа забирают последнее и теперь уж точно на всех не хватит, с тупым диким нерасчетом ринулась ближе к прилавку, стиснула даже тех, кто рвался к выходу с покупкой.

– Куда жмете, ослы? Дайте выйти!

– Э-э! Тихо, мужики! Не давите!

– Оборзели! Ребра ломаете!

Но толпа, казалось, не слышала голосов и не подчинялась разуму. На одного выбравшегося из



винного отдела в комканную-перекомканную, слитную очередь, за решетчатую стену умудрялись втереться двое-трое.

За прилавком стояла Серафима Рогова. Она уж навидалась всякого, но сегодня в магазине было как-то особенно разъяренно-тесно. Мужиков она уже научилась различать не по лицам, хотя всех знала в лицо, а по голосу, по дыханию, по запаху, по рукам, которые чаще всего в зажатом кулаке передавали ей заветные талоны и деньги. Серафима смотрела на покупателей абсолютно пусто; она и пьянку не терпела и талоны на водку не вводила, знала свою торговую службу, и всё тут. Сегодня было так же. Кто-то попадет в поле зрения – и тут же улетучится, без мыслей и эмоций. Карлик сегодня тоже мельком попал в поле зрения. «Этот вечно норовит без очереди», – равнодушно подумала Серафима да и забыла про него.

Отоварка шла чередом. Водка убывала. Внутренняя пружина толпы – всё туже. В какой-то момент сплоченная, слитная мужикова масса, пропотевшая и задыхающаяся от тесноты, колебнулась к прилавку и решетке, которая отгораживала прилавок от толпы, и что-то в торговой мебели закрипело, сдвинулось.

– Да вы что! – крикнула Серафима. – Ошалели? Разнесете всё! А ну, назад!

Толпа окрика не испугалась, но все же колебнулась назад. Должно быть, этот откат назад прижал, утеснил «задних», а «задние» не потерпели утеснения. Сперва выдохнув, а после набрав

воздуху, даванули на «передних». Опять скрежет, скрип прилавка.

– Счас всех выгоню! По одному с милицией буду пускать! – выкрикнула Серафима. Шуточек в ее голосе не слышать. Все знали – есть в ней характер и спесь.

– Полегче, мужики!

– Ну чего вы, как бараны? Быстрей ведь не получится!

– Давайте всё путём. Не жмите! И так не вздохнуть.

Ропот разразился, но никто и не заметил, что в этом ропоте нет голоса Карлика. И вообще он куда-то пропал, не добравшись до заветного окошка в решетчатой отгородке прилавка.

– Стойте, мужики! Погодите! Под ногами кто-то валяется... Стойте!

– Карлика задавили!

Когда толпа колебалась в тисках собственного безумия, Карлика прижали кадыком к поручню прилавка. Он не успел спрятать голову, пригнуться; он враз обезголосел, потерял сознание, обмяк, а потом висел на поручне и не мог упасть на пол, подпертый с боков мужиковыми боками. Потом все-таки сполз на пол, уже мертвым.

– Задавили! Расступись!

– Отойдите, мужики!

– Карлика смяли.

Толпа не расступалась и не расходилась. Никто не хотел жертвовать отвоеванным местом. Только голос Серафимы вразумил мужиков.



– Всё! Закрыто! Милицию сюда! Выходите все на улицу! Сволочи! Все сволочи!

Охлынутая бранью Серафимы, толпа расступилась. Карлик лежал на полу с синим лицом, язык вывалился изо рта, будто у повешенного. Митька Рассохин, дружбан Карлика, подхватил его на руки, как ребенка, понес на воздух.

– «Скорую» надо! «Скорую»!

– Может, дыханье искусственное. Кто умеет?

– Какое дыханье? Он уж синий...

– Менты сейчас понаедут.

Митька Рассохин положил бездыханного Карлика под березу, в тенёк, вблизи магазина. Мужики, бабы окружили погибшего. Откуда-то взялся и Фитиль, верный собутыльник Карлика, пал на колени возле него, зарыдал. Заметив вместе с тем, что одна из рук Карлика крепко сжата в кулак, Фитиль стал разжимать онемевшие пальцы. Но пальцы не давались, мертвой хваткой держали своё. В кулачке были зажаты бумажные деньги и талон на законные две бутылки водки.

– На помин его души, – сказал Фитиль и забрал деньги и талон себе.

Сквозь толпу к Карлику протиснулась Серафима. Глотая слезы, шепча причитания, присела к малому карликовому телу.

– Чего на него глядеть? Иди, Сима, торгуй.

– Ничё не исправишь, – заговорили мужики.

– Да вы что! Человека ведь раздавили! – возмутилась она.

– Не нарочно ведь!

– Никто ему смерти не хотел.

– Ты иди торговать. Торгуй иди, Сима! – подгоняли неуступчивые мужики. – Менты без тебя разберутся.

– Звери! – утирая ладонью слезы, выпалила Серафима. – Все-все звери! Будьте вы прокляты...

– Это Горбачев да Райка евонная весь народ зверями сделали, – сказала тетка Зина, уборщица. Она вынесла с магазинного склада пустой мешок из-под сахара, чтоб прикрыть пострадальца.

Вскоре к покойному пробрался Коленька, он с Анной Ильиничной проходил поблизости от магазина. Увидав прикрытое мешковиной тело, Коленька заговорил быстро, с удивлением, оборачиваясь на свою бабушку Анну Ильиничну и на весь окружный народ.

– ...Она мне зеркальце давала, помнишь? Зеркальце маленькое кругленькое. Поглядишь в него, себя не видно. А ее видать. Она каждому такое зеркальце дает... Каждому... А тебе она зеркальце давала? А тебе? А тебе давала зеркальце? – тыкал Коленька пальцем в того, кого спрашивал. – Посмотришь, себя-то не видишь, а она там...

Скоро к жертве местной ходынки подступил участковый, старший лейтенант Мишкин, стал расспрашивать свидетелей, что да как. Все называли покойного карлика Карликом, кто-то Карлушей, и лишь единицы – Альбертом; но и это имя не было его настоящим именем, это был его цирковой аренный псевдоним – «эквилибрист Альберт Бархатов».



На удавленного в очереди за водкой пришел посмотреть Череп — слух о трагедии разлетелся скоро. Череп приподнял мешковину над лицом Карлика, хмыкнул, сказал загадочно, зло и охально:

– Умер Максим – ну и хрен с ним, елочки пушистые!

II

На следующий день город Вятск потрясло другое событие. Смерть Карлика в очереди за водкой, о чем судачили повсюду, аукнулась властям неким мщением. В прибрежной части города, там, где улица Мопра и Речная, у районного комитета партии собралась огромная стая бродячих собак. Лай стоял на все лады: глухой, тонкий, залиvistый, истеричный. Разнокалиберные, разношерстные псы и суки лаяли что есть мочи на портрет Горбачева и соседствующий с портретом пообшарпанный лозунг. Лозунг был таков:

«В Октябре 1917 года мы ушли от старого мира, бесповоротно отринув его. Мы идем к новому миру — миру коммунизма. С этого пути мы не свернем никогда!» И мелким шрифтом понизу: «Из Доклада М.С. Горбачева в Кремлевском Дворце съездов 2 ноября 1987 года».

Бездомных дворняг и прежде, в бесмутное время, в Вятске было с избытком. В последние голодные годы брошенных хозяевами собак и рожденных бродяжек стало не счесть. Они слонялись стаями по улицам, кучковались возле скуд-

ных перестроечных помоек.

Что творилось у Приреченского райкома партии, доселе было невиданным, неслыханным. Собаки не только облаивали рисованный Горбачевский лик, без пятна на плешине, но и заводили, распаяли своим гавом всех здешних домашних собак. Теперь все окрестные барбосы тоже рвались с цепей, лаяли возле открытых в улицу окон, у заборов, вытягивая морды в сторону райкома партии. Вся округа наполнилась этим чудным и страшным лаем, словно всему собачьему племени будоражил кровь, воспалял злюкость не портретный Михаил Сергеевич Горбачев, а лютей зверюга волчара.

Народ тоже стекался на необычное зрелище. Сквозь надрывный многоголосый собачий лай утверждал свое:

– Ну все. Это Мишке Горбатову знак. Хана ему скоро.

– Это ему мертвый Карлик подстроил. Он уж шибко не терпел этого лысяка.

– Вишь, как собаки-то за Карлушу заступились. Не то что люди.

Наряд милиции пробовал разогнать собак палками. Напрасно. Собаки не разбегались – лишь злее тьякали, до хрипоты надрывали глотки. К ним, казалось, со всего города сбегались в подмогу другие, и хор не сбавлял дикой, непрерывной хвалы генсеку. Наконец вызвали кинолога с милицейского собачника. Он походил вокруг наглядной агитации, пощупал, понюхал.



– Надо это хозяйство с хлоркой промыть, – сказал собачий спец, указывая на портрет. – Мишке Горбачу кто-то рыло медвежьим салом натер. Духзвериный идет. Вот собаки и бесятся.

За собачьей потехой удовлетворенно наблюдал Череп. Покуривал, похмыкивал, кивал участковому Мишкину:

– Голосисто лают, елочки пушистые!

Это Череп дал ребятишкам банку медвежьего сала, науськал за пачку «Аэрофлота», чтоб втихарию измазали «пятнистого», раскрутили потеху.

Портрет Михаила Сергеевича помыли с хлоркой. Собаки поутихли, но расходиться далеко не хотели. Будто ждали: вдруг портрет снова начнет вонять зверятиной. Не начал. Однако в ночь собаки подняли в районе жуткий вой. Они выли на все голоса, иной раз сливаясь в один трубный тон. Они сорвали ночной отдых, давили на бессонные людские нервы многоголосьем. По ком они выли? – не понять. То ли отпевали Карлика, у которого нынче похороны, то ли не давал им покоя облаенный Горбачев.

Наутро разгневанный райкомовский секретарь Вожегов приказал завхозу, не называя вещи своими именами:

– Убери ты эту образину к чертям собачьим!

Завхоз с плотником убрали портрет и лозунг всеобщего обзора сперва на склад, а вечером потихому сожгли в овраге. Собачьи стаи сняли оккупацию райкома. Только скоро и сам райком стало трясти. Партию облаяли изнутри и снаружи...

– Ехали на тройке – хрен догонишь, оглобли потеряли – хрен найдешь... – злоехидно и афористично распевал Череп и все с большим любопытством наблюдал за похождениями седого, толстого детины по фамилии Ельцин.

Борис Ельцин все чаще выворачивал свои упрямые злые губы на телевизионном экране, клоунадил с партийными привилегиями, молол по пьянке чепуху про покушение на себя, чудил в американском вояже, паясничал, припрятывая ущербную беспалую ладонь, и все больше обрастал политическим жирком, становясь центральным персонажем в конце исковерканного двадцатого века.

Приближался 1991 год.

III

По весне, в начале апреля, против барака Ворончихиных остановился грязно-зеленый, раздолбанный на вятских дорогах, с ржавыми порогами «Уазик»-буханка; машина медицинской службы, с красным крестом на бочине. Из кабины выбрался врач в белом несвежем халате, очкастый, худосочный, молодой, с длинными волосами, стянутыми на затылке резинкой в бабий хвост с завитушкой на конце. Врач распахнул заднюю дверцу, поманил кого-то рукой. Скоро из нутра «буханки», неуклюже, с подмогой врача выбрался человек в серой, заношенной фуфайке и замызганной шапке. Он был стар. Лицо худое, изжелта-серое, с острыми скулами в седой щети-



не; сухой тонкий нос с горбинкой. Черные глаза на блеклом лице ничего не выражали.

Валентина Семеновна наблюдала за приездом машины из окошка. Она громко охнула, когда опознала старика. Тут же кинулась в коридор, в соседскую комнату, где брэнчала гитара.

– Федор Федорович вернулся! – выпалила она и бросилась на крыльцо.

Череп резко отложил гитару на койку, жалобно взвизгнула первая струна, язвительно уставился на Серафиму, с которой они тут проводили праздные часы:

– Чё? Дождалась хахаля? А мне теперь – освободь фатеру? – Он тоже направился на улицу. – Поглядим, с какого он свету вернулся.

Серафима растерянно поднялась со стула, глянула на себя в настенный квадратик зеркала, оправила прическу. «Неужто вылечили? Да нет. Как же могут сумасшедшего вылечить! Может, на время отпустили...» – часто застучало женское сердце, когда-то полоненное вернувшимся почти из небытия человеком.

Увидев Федора Федоровича, Серафима похолодела: «Боже! Старик старущий!» Бывший любовник поглядел на нее пустым взглядом и, похоже, не узнал, не вспомнил ее, а может, не имел для этого здоровья.

Федор Федорович стоял перед Валентиной Семеновной, Черепом и Серафимой подавленный, настороженный и униженный, словно его могли не пустить домой, могли согнать прочь.

– Вы соседи? Это хорошо, что застал... Вот привезли... А чего делать? Кормить больных нечем. Лекарств нет. Простыни по три месяца не меняем. Прачечная не берет, задолжали... Санитарок нету. – Врач говорил отрывисто, скоро, выливал беды на головы соседей больного Сенникова. – Он теперь тихий совсем... Таких по домам развозим. А то у нас перемрут. Пусть дома живет. У него пенсия ветеранская. Сын, говорят, где-то есть... Участковый врач присмотрит...

Валентина Семеновна подошла к Федору Федоровичу, обняла его:

– С возвращением... Сын у него есть, – сказала врачу. – Монахом служит.

– Ну и хорошо! – обрадовался врач. Голос повеселел и стал заискивающим. – Неплохо бы расписаться, – замельтешил, вытащил из оттопыренного кармана бумагу. – Кто его принял. Расписаться...

Череп шагнул к врачу:

– Я тебе сейчас распишусь! Гвоздем на твоей голой заднице!

Врача вместе с «Уазиком»-буханкой как ветром сдуло.

– Да-а, бабы, – дивясь существу, проговорил Череп. – Если из дурдомов психов стали по домам разгонять, видать, страна совсем квакнулась. Революция будет, елочки пушистые!

– Тут на днях, – поддержала тему Серафима, – детское спецучилище закрыли. Подростки, которые в тюрьму не попали, там учились. Кормить-



поить нечем.

– Теперь попадут, – заметил Череп, кивнул Серафиме: – Обними Полковника-то. Вишь, лобзаний твоих ждет.

Серафима стояла между двух мужчин, которых она когда-то сильно, без ума любила. Она и по сей день каждого из них любила. «Вот она, женская судьба-то! – мелькнуло у Серафимы. – Одна любовь, другая любовь. А уж на третью никакой бабьей силушки не хватит...»

Федор Федорович стоял бессловесный и серый. Он зачем-то снял с седой головы шапку.

В тот же день Серафима заявила Николаю Семеновичу Смолянинову:

– Ты, Николай, не злословь... Это мужики хреном направо-налево машут. Или бабы гулящие туда-сюда задницей вертят... Я не изгулялась. Тебя терять не хочу. К тебе я сердцем и дитём привязана. А Федора мне жалко. Если он стакан воды попросит – принесу. Любому нормальному человеку такого жалко.

– Чё ты по нем убиваешься? Сумасшествие – высшая свобода человека, – взялся рассуждать Череп. – Почему бабы любят с мужиками перепихнуться? Почему? Потому что теряют башку во время кайфа. В этом и есть ихняя высшая свобода, елочки пушистые! А для мужика – счастье: стакан залудить и обестолковать ненадолго... Я вот помню, в Касабланке с йогом одним говорил. Он на себя туману напустит, ноги задерет за башку и сидит, как идол, целый день. Ни жрать, ни курить

не хочет. Йоги-то насильно себя дурнями делают. И счастливы! Полковник у нас сейчас самый счастливый и свободный человек. Ему по жизни уже ни хрена не надо. Нам бы всей страной обес-толковать враз — и нету проблем!

IV

Благовещенский монастырь поднимался из руин. Медленно, основательно, упорно — в кропотливых и благодатных трудовых днях здешней сплоченной братии: всего-то четверо монахов. В подмоге — немногочисленные сочувствующие из ближних опустелых деревень.

Игумен Питирим, оборотясь на кирпичную кладку взнимающейся колокольни, восторженно воскликнул:

— Помнишь ли, отец Георгий, как начинали? Сколь тягот пришлось терпеть! В землянке обжи-вались. Да ведь возвышаемся! Бог даст, на будущей неделе поеду колокол заказывать. С миру по полушке — денег вроде набралось... Вот уж праздник-то для нас под колокольный звон.

— Да, батюшка, — ответно порадовался отец Георгий. — Господь милостив к нам. Полы в алтаре стелем. Доска ровная, сухая. Одна к одной, как на подбор... Только весть у меня к вам, отец Питирим. Ваше благословение требуется.

Благодушие игумена с лица сошло.

Ежеутренне и ежевечерне отец Георгий поминал в своих молитвах «покоенку маму» и «страж-



дущего отца». Получив сегодня письмо из Вятска от Валентины Семеновны с известием о том, что отца «привезли из больницы на домашнее жительство», иннок Георгий сразу засобирался в дорогу. Воспоминания лавиной обрушились на него. С одной стороны, он помнил до мельчайших подробностей, как отец измывался над матерью, какими гадкими словами называл ее; он помнил даже вкус слез матери, когда она прижимала его к себе и они плакали от изверга отца вместе; он помнил свой испепеляющий страх, когда отец распял в себе злобу и подымал скандал на пустом месте. Жалость к несчастной матери и сейчас душила отца Георгия слезами. Но с другой стороны, он не корил отца за былое, он стыдил себя за то, что бросил отца помирать в «желтом» доме.

– Не по-божески выйдет, отец Питирим, если я буду возводить храм, а родителя своего оставлю одного на погибель, – объяснял отец Георгий настоятелю, без чьего согласия не смел покидать обитель.

– Родитель твой – Господь! На то мы здесь, чтоб ему только служить, – возразил игумен. Задумался. – Я полагался на тебя, отец Георгий, во всем. Без тебя мне тяжелее будет. Сладу в работе меньше. Но идти тебе в мир – запретить не могу. Господь тебе указчик, – сказал игумен, перекрестил отца Георгия и сразу пошел прочь, чтоб не слушать обещаний подопечного монаха о скором возвращении.

Отец Георгий меж тем и не собирался ничего обещать настоятелю и своему товарищу. Он не заглядывал далече наперед. День нынешний требовал от него поездки к отцу, а там — как выйдет, так выйдет: на все воля Божья! Да, он монах, отрекшийся от света, именованный теперь другим неродителевым именем, но он все еще слабый человек, с сердцем и болью в этом сердце. Прости, Господи!

Путь в Вятск лежал через Москву.

В Москве — выпало подходящее время — отец Георгий отстоял литургию в Елоховском Богоявленском соборе. Службу вел сам Патриарх Алексей Второй.

Отец Георгий встречался с Алексием Вторым, когда тот, будучи митрополитом, наведывался к ним в обитель, вернее, на развалины обители и окроплял порушенный храм святой водой, молясь за возрождение монастыря. Отцу Георгию нравился этот деятельный пастырь во главе духовенства, его несуетность, твердость и разумность, умение рядить с людьми светскими, облачаясь не только в ризы, но и войдя в сословие депутатов Верховного Совета СССР.

Службу патриарх Алексей Второй вел превосходно. Торжественно, чинно. Голос под знаменитыми расписными сводами разливался широко, вольно и вместе с тем призывающе тревожно: наступила Страстная седмица, последняя неделя Великого поста. Служба текла с проникновенны-



ми песнопениями и вдохновенными чтениями Евангелия. Но не сама знаменательная, благоговейная служба как таковая поражала отца Георгия, его поражало и радовало многолюдье прихожан. Огромный патриарший кафедральный собор был полон молящегося разновозрастного народу – яблоку негде упасть. Забита вся паперть. Да и вокруг собора народ толпился, взирая на церковные окна. Подсвечники храма полны свеч. Патриарх строг и убедителен. Молитва прочувствованна. Пение хора чистосердечно. Дух христианского единения и возрождения православной веры витает вместе с кадилльным дымом...

Сколько раз отец Георгий читал и перечитывал, и недопонимал тех пророческих посылов, которые находил в неотправленных письмах и дневниках своего прадеда Варфоломея Мироновича!

В дневнике прадеда была запись от ноября 1932 года:

«...Православие истребляется большевиками, как якобы наследие самодержавного царского режима, который угнетал крестьян и рабочих. Напротив — сейчас идет повсеместное разорение крепких крестьянских хозяйств. Разрушается нравственный чин русской общины. В стране голод. Деревня обескровлена, вымирает физически.

Да разве наша православная Церковь, все деяния ее, равно как подвиги Христовы, не были направлены на то, чтобы помочь беднейшим, дать им пропитание, надежду и нравственный закон! Церковь искони призывала к милосердию и

жертвенности.

Сегодня вышло так, что комиссары, по большей части люди малограмотные, большей частью инородцы, решают: стоять церкви или нет. По всей стране разрушаются святыни русского Православия, русской Истории. Взорван Храм Христа Спасителя – чудовищно!

В Кремле, прежде под водительством Ульянова-Ленина, теперь под водительством Джугашвили-Сталина собрались лютые ненавистники христианства. Не воля верующих, а воля полуграмотных оголтелых большевиков диктует – в каком свете представить Русскую Церковь, какой краскою красить Русскую Историю.

Кажется, сам Бог отвернулся от нас.

Нет! Сотни, тысячи священников сложили головы, отстаивая свои права и не отреклись от Господа. Эти жертвы не напрасны.

Житие и быт русского народа немислим без закона духовного, нравственного. Светские установки не могут охватить весь духовный мир человека. Рано или поздно сама душа человеческая и воля Божия призовет русских людей в церкви. Произойдет неизбежно восстановление поруганного...»

Еще недавно, несколько лет назад, от этих строчек прадеда-богослова на инокa Георгия веяло сомнением. Варфоломей Миронович боролся за права Церкви и верующих, но казалось, он полагался в этой борьбе на далекое посткоммунистическое будущее. Власть в лице оголтелого



богопротивника Ленина, деспотичного атеиста Сталина, хамовитого неуча Хрущева и последующих безбожных правителей казалась долговечной, несносимой. Прадед выглядел мечтателем, утопистом.

Но нынче-то. Нынче! Все так по-прадедовски выходило. Его будущее творилось на глазах. Повсюду слышен колокольный звон возрождающихся церквей. Сотни тысяч людей свободно вздохнули, глядя на православный крест над куполами и осенили себя знамением. Народ вознамерился восстановить храм Христа Спасителя!

«Дух русский восстановит в правах Церковь Господню. Из руин, по камешку...» – писал в мракобесные тридцатые Варфоломей Миронович. Писал с верой. И вот оно...

Патриарх Алексей Второй вел литургию в переполненном соборе. Отец Георгий истово молился, повторял вслед за патриархом апостольские святыи стихи. Отец Георгий стоял недалеко от аналоя, и в один из моментов его взгляд слился со встречным взглядом патриарха Алексея. Тот, очевидно, признал его, вспомнил. Обоюдный их взгляд незаметно для других, только для отца Георгия и патриарха, отеплел.

Пребывая несколько часов в Москве, отец Георгий все находился под впечатлением утренней службы, встречи с Патриархом, многолюдья верующих... Размышлял. Пусть нынешняя «перестроечная» власть еще робка на пути к Господу. Но в ней нет воинственного бесовства. Что бы ни

говорили сограждане о личности партийца Михаила Горбачева, он все же проник в самую глубь русского сознания, обратился к Церкви, дав ей свободу и право на возрождение. Путь этого человека тяжел, ухабист. Много вольного и невольного зла чинится вокруг. Но он убрал препоны на пути к церкви. Он вознамерился обуздать русское пьянство. Вывести людей из потемок коммунистического сектантства. Человек этот оболган, и много демонов вьются, должно, вокруг него. Но деяния его благие зачтутся...

В Вятск отец Георгий выезжал с Ярославского вокзала. Глядя в окно тронувшегося поезда, он увидел надпись на бетонных плитах, укрепляющих склон к железной дороге: «Мишка + Райка = ...» Отец Георгий прочитал последующие дурные слова глазами, но внутри себя умом, голосом не произнес. Отвел взгляд на апрельские снеготаянные лужи, свинцово отражавшие небо.

Поезд в дороге сбился с расписания. Запоздал – на станцию «Вятск» пришел поздним вечером. До дому отец Георгий добирался по потемкам. Пешим ходом.

Фонарей на улице Мопра почти не горело. Апрельская ростепельная грязь и лужи кругом. В длинном иноческом подряснике отец Георгий прыгал через эту грязь и лужи, – прыгал и вспоминал свои детские годы. Иногда останавливался, глубоко, жадно вдыхал воздух весны, напитанный тальми водами, набухающими почками и чем-то невыразимо трогательным – тоже из детства.



Перед отчим домом отец Георгий разочарованно остановился: на всех окнах стояли решетки. Входная дверь была заперта изнутри туго, не по-старому, похоже, на засов. Отец Георгий тихонько постучал в окно Ворончихиных. Там, в окошке, в глубине, забрезжил свет. Скоро из коридора сипловатый голос Черепа резко спросил:

– Кто таков?

– Отец Георгий.

– Кто-кто?

– Это я. В миру был Сенников Константин. Ваш сосед.

Череп с недоверием приоткрыл дверь:

– Экий ты стручок бородатый стал, Костя! – рассмеялся Череп. – Ты эти чины – отец там, праотец, брось! Ты для нас Костя! С попами будь ты хоть Христом Иванычем... – Он пропустил его в освещенный коридор. – Монахом работаешь?

– Что вы, Николай Семенович! Вере – служат, а не работают... Мы с братией подо Псковом монастырь восстанавливаем, – ответил отец Георгий, снял с головы скуфейку и мелко перекрестился: дескать, с приездом.

– Костенька! – выбежала в коридор в ночной рубахе, в накинутой на плечи кофте Валентина Семеновна, обняла соседа, прослезилась.

– Почему, тетя Валь, решетки на окнах? – спросил он.

– Да как же почему? Воруют, падлы позорные, – ответил Череп. – В окно залезли. У Валентины сумку сперли, шапку из гардероба. У бати твоего –



китель с орденами уволокли...

Отец Георгий покачал головой. Иголкой кольнуло в сердце сообщение – китель с боевыми наградами отца. Как же он без них? Ведь он вояка, офицер, на параде Победы шел...

– К тебе в комнату не забрались, – успокоила Валентина Семеновна. – Спугнули воров, видать... Какой ты худющий, Костя...

– Ночь на дворе, – сказал Череп. – Завтра встречу отметим. Кагору-то привез? Я знаю, попы на кагор налегают. Помню, в Греции мы с боцманом и двумя попами бочку кагору на раз выдули, елочки пушистые!

Отец Георгий остался в коридоре один. Огляделся кругом, хотя его больше интересовал запах, чем вид старого коридора. И на улице его интересовала не улица, а запах весны, струившийся из детства, и здесь, в коридоре, его окружили запахи прошлого: откуда-то сверху, с вышки, сквозь потолочные щели – запах сена и березовых веников, из кладовки – запах старой материной дохи, которую, возможно, уже и выбросили; от пола поднимался сыроватый дух подполья и чуть подгнившей картошки. Запахи чаровали отца Георгия, он окунулся в детство. И тут – видение, всплеск фантазии: будто они втроем – он, Пашка и Лешка – выскочили в коридор и давай собирать снасти, чтобы идти на рыбалку на Вятку.

Отец Георгий вошел в свой дом. Включил свет. Нечаянно взглянул в зеркало на стене и слегка опешил: он увидал себя... Он увидал себя и пора-



зился. Он был как будто очень стар, сух, неуклюж и тщедушен. Русая реденькая борода, худые щеки, худые плечи, и только загорелые смуглые натруженные тяжелые руки... Он перекрестился, стал разболочаться: подрясник был по низу сырой, извожен в грязи.

Ножницами отец Георгий укоротил и поравнял себе бороду, а после долго умывался под рукомойником. Утирался полотенцем, должно быть, глаженным еще матерью. Затем переоделся в свое старое, домашнее – светлую полосатую рубаху, купленную матерью, темные брюки, на ноги – шлепанцы. Еще раз оглядел себя в зеркале и негромко рассмеялся. Почувствовал себя Костей Сенниковым. Слово жизнь, нынешняя минута этой жизни, сместила в прошлое, в дальнейшее прошлое все, что связывалось с монашеством, с именем Георгий.

За окном уже брезжил рассвет.

V

Константин отворил дверь в комнату к отцу не сразу. Сперва он прислушался из коридора – нет ли там звуков, после постучался тихонько, немного повыждал и лишь затем навалился плечом. Свет из коридора хиловато, мутно растекался по части отцовской комнаты. Константин, заслоняя своей фигурой коридорное электричество, вошел к отцу.

– Ах, Господи! – вырвалось из груди.

Он увидел на кровати старика с худым желтым

лицом, обросшим седой щетиной, с клочкастыми длинными патлами, с провалившимся синим ртом. Только нос, исхудалый, заострившийся, торчал будто у непокорного орла. Этот отчужденный старик отец лежал на койке навзничь, в одежде, поверх одеяла, покрытый сверху серой фуфайкой. В глаза Константину бросились непокрытые ноги в вязаных протоптанных рваных носках: дыры были на подошвах, в дыры выглядывали большие пальцы ступней с желтыми, загнутыми, как когти, ногтями. Отец не спал.

Рассвет был не силен – в окне белый сумрак. Константин зажег свет. Отец съежился, взглянул испуганно на вошедшего и прикрылся локтем. Видно, неожиданный свет причинял ему боль. Константин погасил лампу.

– Я свечу сейчас принесу. Не будет в глаза бить, – сказал он и, оторопевший от увиденного, заспешил к своей поклаже, где были свечи.

Когда на столе в граненом стакане разгорелась толстая свеча, Константин разглядел на полу, под окном, пустую клетку Феликса. Пламя свечи все сильнее разгоралось – клетка Феликса все четче бросала на стену и пол решетчатую невольничью тень.

– Я вас, отец, сейчас чаем напою. У меня чай особенный, с травами. Я их теперь сам собираю. Лечебный чай.

Константин хлопотал с чаем, уходил к себе на кухню, возвращался, о чем-то попутно говорил отцу, даже спрашивал о чем-то. Но отец не произ-



нес ни слова – должно быть, он не узнавал или не замечал Константина.

Наконец горячий духовитый чай в кружке, пастила и пряники на тарелке – стояли на табуретке перед кроватью отца, в изголовье.

– Поешьте, попейте, отец, чаю. Вы, наверно, голодны? – настаивал Константин.

Отец, казалось, только сейчас и обратил внимание на него. Он без желания и аппетита посмотрел на табуретку, не спеша сдвинул с себя фуфайку, спустил ноги на пол, сел на койке. Недовольно прищурясь, посмотрел на горящую свечу, потянулся желтой одряблой жилистой рукой к кружке с чаем. Рука у него тряслась, тряслись и синие тонкие губы, когда он отхлебывал чай из кружки.

– Вот пряники. Свежие. В Москве купил. Угоститесь... – Константин взял с тарелки пряник и протянул отцу. Но тут же как будто обжегся, отпрянул. Губы отца приоткрылись шире, и Константин увидел черный провал рта: у отца не было ни единого зуба.

– Отец! – вскрикнул Константин и бросился перед ним на колени, поцеловал его руку и тихо заплакал. – Простите меня, отец! Я не должен был покидать вас. Простите меня, папа!

Отец опять не нарушил молчания. Смотрел вбок, в пол. На стене колебалась его расплывчатая остроносая тень.

– Я очень виноват перед вами, – сказал Константин. Он стоял на коленях. Спросил: – Вы помните маму? – Он не ждал ответа. – Вы неспра-

ведливо ее обижали. Мне было больно за нее. Я очень боялся вас, а она часто плакала. Вы ее били... Иногда, еще мальчишкой, ребенком, я мечтал, чтобы вы поскорее умерли... Даже не так. Даже грешнее... – Он помолчал. – Иногда я целые ночи напролет думал о том, чтобы убить вас. Мне хотелось убить вас ради мамы. Она очень страдала. Я тоже страдал. Мне хотелось положить конец такой жизни... Во мне было много страха. Я весь дрожал, когда вы над ней... когда вы ее обижали... Я часто думал убить вас... Простите.

Отец по-прежнему оставался невозмутим. Кружку он поставил на табуретку и, казалось, больше не хотел чаю. Он только иногда косил глаза в сторону Феликсовой клетки. Тень от клетки кривой решеткой лежала на стене, под окном, которое тоже было зарешечено.

– В те годы я еще думал... Я хотел... – голос Константина был напряженно глух, вымучен под бременем открываемой тайны, – с Богом расправиться... Он обманул людей. Он создал их и сам же заставил страдать... Мне казалось, что Бог не любит людей. Он, как нерадивый отец... Он отрекся от людей. Он не чувствует их боли и переживаний. Он не знает людских страхов... Мне тогда, мальчишкой, хотелось тоже наказать его, убить... – Константин вздохнул, помолчал, глядя на посветлевшее в окне небо. За окном в наступающем утре было слышать, как запела птица. – Я признаюсь вам в этом, потому что очень виноват перед вами. Перед Господом мне еще придется



держат ответ. Но сейчас я хочу, чтоб вы знали мой грех перед вами, отец. Это мой грех, который замаливать всю жизнь... Простите меня, – Константин опять поцеловал руку отцу и, поднявшись с колен, перекрестился, поклонился в пояс. – Я никуда не уеду от вас... Ваша болезнь, возможно, отойдет. Я святой воды привез. Надо окропить дом... – Константин улыбнулся, спросил отца громко: – Вы пойдете со мной на могилу мамы?

Отец поднял на него встревоженные стеклянные глаза:

– Зачем? – спросил быстро, в недоумении.

Константин смутился; ему показалось, что отец в полном разуме и все понимает.

В последующие дни Константин упивался свалившейся на него домашней жизнью. Нет, он не позволял себе ничего светского – разве что в шашки играл с Черепом, – он с чувством первооткрывателя вновь перечитывал дневники, записки, письма от корреспондентов прадеда Варфоломея Мироновича. Константин благодарил Господа: хищники, которые покусились на китель с наградами отца, не добрались до рукописей, икон и священных книг, которые он схоронил на дне сундука под старыми вещами матери.

Перечитывая прадедовские бумаги, Константин в преображенном свете видел и чувствовал старый, русский православный уклад жизни и новое время возрождения. Это время возрождения виделось ему неким счастливым мучением

роженицы, которая дарует новую сыновнюю жизнь...

– Да, Костенька, церкви пооткрывали. Да токо люди счастливише не сделались. На душе покою нету, – вздыхала Валентина Семеновна. – Как пошла экая воровская жизнь, я все ценности твоей матери продала. Суди меня, не суди. Побоялась: вдруг, думаю, скрадут – горе мне... Продала одному дельному человеку, он цену мне за них настоящую дал. Деньги, Костя, вот, на сберкнижке... На получателя я оформлять не стала, боюсь и книжку могут выкрасть. Оформила на себя, но передаю тебе бумагу. Нотариус заверил. Случись чего, они на тебя по завещанию...

Константин смотрел непонимающим взглядом, рассеянно слушал усердный отчет Валентины Семеновны.

– Батька твой под присмотром. И я, и Серафима об нем не забываем. Но упрям он. Ест мало. Крохи. А носки рваные свои менять не хочет... Спит в одежде... Ведёт себя тихо. Как-то раз куда-то с клеткой от ворона ходил...

– Чем и благодарить вас, тетя Валь? Молиться буду за вас, – спрашивал и отвечал Константин.

Он молился здесь, дома, тоже с особыми чувствами. Теперь он был свободен в своих молитвах, не надо было никого опасаться. Знакомые иконы и особо – лик Серафима Саровского глядели на Константина теперь приветливо, даже родственно. И всякая вещь, что попадала ему на глаза или в руки, рождала воспоминания – всё



приятные. Или грустно-приятные. Даже пузатенький графинчик для водки, который стоял в буфете.

Словно душистым фимиамом обкуривали Константина воспоминания о матери. Мать всегда курила «Казбек». Запах этого табака сберегся в одежде, которая висела в шифоньере, в подушках, в гардинах, в обивке дивана. Этот табачный дух, вернее, истончавший шлейф этого запаха навевал то одну картину о матери, то другую. Константин оборачивался на карточку матери, которая стояла в рамочке на комодe... Замирал.

Он с состраданием и умилением вспоминал о ней. Мать выносила его в своем чреве, берегла его своей жизнью. Она дала ему жизнь. Она подарила ему этот мир, созданный Богом и ею... Мать была с ним очень нежна. Она любила его всем сердцем, всей душою. Константин из далекого младенчества помнил, как она одевала его, собирала на прогулку; он сидел на кровати, тер кулачками глаза, а она стояла перед ним на коленях, натягивала ему на ноги штанишки, потом надевала сандалики, беленькую рубашку, – мать очень любила белые рубашки и белый цвет во всем: белые платья, белые снега, белые лилии. Когда он был готов для прогулки, мать подхватывала его на руки, прижимала к себе, тискала, предлагала: «Давай поцелуемся носиками!», и они целовались носиками. Он крепко обнимал мать за шею, чувствовал ее шелковистые волосы, щекой прижимался к ее уху, иногда легонько щелкал пальчиком по ее золотым сережкам.

Потом она надевала белое платье, белые туфли, подкрашивала вишневой помадой губы, и они шли в городской парк. Он держался за руку матери, поднимал на нее глаза, и когда они встречались взглядами, она прижимала его к себе; глаза ее весело лучились. И хотя он не умел тогда выразить словесно, все равно знал, что мать у него самая красивая, самая добрая, самая светлая и солнечная.

Она покупала для него газировку, шоколад, мороженое; они шли с ней кружиться на каруселях, на «чертовом колесе»; он очень боялся и сидел рядом с матерью, съезжившись, вцепившись в ее руку, а она смеялась, смеялась летящему навстречу ветру, деревьям, скорости, обнимала его: выкрикивала: «Не бойся, Костик!» – и опять смеялась и сильнее прижимала его к себе. Наконец карусель сбавляла ход, ему становилось спокойнее, он уже уверенно смотрел вниз, улыбался матери.

Однажды он кинулся к дикому цветнику, где росли белые астры, захотел сорвать одну и подарить матери; он и не заметил кружившую над цветником пчелу, и вероятно, спугнул полосатую трудницу и пчела ужалила его в запястье. Обливаясь слезами от боли, он все же принес матери белую астру, а потом показал ужаленную руку. Мать, охая и переживая за него, исцеловала всю его руку, исцеловала все его заплаканное лицо, она готова была взять на себя, отнять у него всю его боль, все его страдания от пчелиного яда, она была



готова забрать все его невзгоды, болезни, страхи...

Константин нечаянно взглянул в окно и подивился. Окно теперь зарешечено. Как бы теперь мать могла спасти его от отца, если на окне решетка? Она все равно бы его спасла, пусть на окне будет хоть три решетки!

«Мама! Милая моя мамочка! Вы самое для меня светлое на земле, что было и что есть в моей жизни», – шептал Константин.

Теперь он понимал, что мать с настрадавшейся душой, усыпленная вином, сдалась небытию, но ее материнская любовь — неизбывна, вечна. Любовь матери — это солнечный свет, это звезды в ночном небе, это запах оттаявших после зимы веток вербы. Любовь матери — это переливы птиц, шум ручья на каменных перекатах, голос ветра, заблудившегося в ветвях векового дуба... Нет ничего выше и преданнее, чем любовь матери и любовь сына к матери. Любовь к женщине держится на плотском влечении, эта любовь подчас низка, корыстна, эту любовь можно заслужить, можно воспитать в себе, можно даже купить, — любовь к матери благородна и свята, в ней нет ничего, кроме сердца. Даже любовь к Богу ниже этой любви! — думал Константин, не боясь святотатства.

«Я живучая», — услышал он в самом себе расхожие слова матери... Она защищалась ими. Ей и, верно, приходилось выживать — повсюду на пути капканы. Девушка с дворянскими корнями — и безжалостный комсомол; оккупация — и гнет

фашистов; война – и смертельная опасность; после всего этого – истязаящая жестокая любовь мужа. «Я живучая»...

«Вы навсегда, мама, останетесь живой», – шептал Константин. Любовь матери – есть свет, есть чувство, есть незримая, но безусловная материя. Матери не уходят прежде своих детей!

За стеной на койке, укрывшись фуфайкой, в изношенных носках лежал сумасшедший старик отец.

VI

В конце восьмидесятых фактически пал военный блок стран Варшавского Договора. С начала девяностых из Чехословакии, Польши, Венгрии, Болгарии повально выпроваживали советские войска – сотни тысяч военнослужащих. Более полумиллиона советских солдат освобождали военные городки ГДР.

Артиллерийский полк Павла Ворончихина вывели из Восточной Германии, расквартировали в Калужской области. «В чистом поле», – язвительно говорили офицеры. Полк разместили на территории старого кирпичного завода близ рабочего поселка «Коммунар». Офицерские семьи расселились в старом заводском общежитии, на квартирах в поселке и ближних деревнях, солдатам отвели под казармы заводские бараки; артвооружение, бронетехнику бросили под открытым небом, без боксов и ремонтной базы. Для штаба полка отдали служебное помещение бывшей



пожарной части.

– Судьбу полка определяю не я, – сказал Павел командиру первого дивизиона майору Шадрину, самому нетерпеливому и вскидчивому из офицеров. – Самое страшное, считаю, позади. Зиму перезимовали. Солдат не заморозили. Впереди – лето. Будем обустраиваться, как сможем.

– Позади, говоришь? – уцепился Шадрин за слово (они были с Павлом по-товарищески на «ты»). – Себе мозги пудришь? Страшное-то впереди! Что же вы все, командиры полков, командиры дивизий, как в штаны наклали? – взвинченный Шадрин щипал совесть товарища. Павел его не пресекал, наказал себе выслушать подчиненного и давнего приятеля – пускай выговорится. – Из Германии нас, как псов, выгнали. Ладно, там чужая земля. Америкашки нас сделали... Но здесь-то мы у себя, дома! Почему молчите? Офицеры с семьями – в халупах. Воды нет, потолки обваливаются... В солдатской бане мыла не хватает. У солдат вши появились. Я вшей сроду не видел. А здесь увидел... Я офицерский паек полгода не получал. Натовскую списанную тушенку жрём! Из Германии – гуманитарная помощь. Вот тебе, русский солдат, просроченные пайки солдат бундесвера! С машин резину гражданским толкаем. Все думают только об одном: чего бы украсть да продать...

Павел хотел было процедить сквозь зубы: «Не все...» – но смолчал, даже подстегнул гневную речь Шадрина, который нарочито нарывался на ссору.

– Дальше говори!

– Чего говорить? Сам не видишь? Шахтеры и те: сядут на рельсы – и баста! У нас вооружение, сила, а мы... У меня за Афган два ордена «Красной Звезды», а я в глаза сыну стыжусь глядеть. В военное училище запретил ему поступать! А партия твоя где? Не ты ли нам про честь и совесть пропаганду вел? Теперь что, все коммунисты к другим богам убежали?

– Что ты предлагаешь? – терпеливо спросил Павел.

– Подогнать реактивный дивизион к Москве и залпом по Кремлю, чтоб все гниды...

– Это эмоции! – оборвал Павел. – Не ты один кулаки сжимаешь.

Разговор происходил в кабинете командира полка. Павел догадывался, что майор Шадрин неспроста повел обвинительные речи в официальном месте: мог бы и в домашней обстановке – как никак дружили семьями, сыновья были одногодки, вместе собирались поступать в военное училище. Шадрин как-то резко обмяк, обличительным речам – край.

– Рапорт написал, – сказал Шадрин успокоенным тоном. – Руки, ноги, голова есть – проживу и без Советской Армии... Брат у меня кооператив создал, зовет к себе.

– Правильно! – поддержал Павел. – Военным, Шадрин, тебе уже не быть.

– Это почему? – оскорбленно вскинулся майор.

Павел Ворончихин не успел, да, возможно, и не



захотел бы толковать свое мнение. В этот момент без стука в кабинет ворвался старший лейтенант Самохин, закричал с порога:

– Товарищ полковник! Там, на плацу, капитан Найденов себя соляркой облил! Поджечь хочет! Вастребует. Всех офицеров зовет...

– Шадрин! Вызови медслужбу! – приказал Павел. – Приготовь плащ-палатку! Огнетушители приготовь! Самохин, за мной!.. Докладывай!

Бледный старший лейтенант Самохин семенил рядом с Павлом по коридору штаба, рассказывал впопыхах:

– У Найденова жена беременная. Была. Умерла ночью. Роды начались раньше срока. Найденов в деревне Подвойке избу старую снимает. За «скорой» послать некого. Там четверо старух живет. Связи нету. Ну, он старуху одну отрядил в поселок. А там... А там у «скорой» бензина нету. Они к нам в часть... Дежурную машину послали. Она застряла. Весна – дороги-то развезло. Только на утре врач пешком пришел. А она, жена его уж... Поздно. Жену и ребенка – не спасли... Найденов на плац вышел с канистрой солярки...

Плац был не велик – площадь перед старой пожаркой. Посреди плаца, который со всех сторон окружали военнослужащие, стоял без шапки капитан в расстегнутой мокрой шинели. С шинели стекали капли в маслянистую лужу у его ног. Рядом валялась канистра. Запах солярки сладковато и ядовито исходил во все стороны.

– Все! Все собирайтесь! Все! И солдаты, и офи-

церы! Чтоб все видели! – Капитан Найденов захлебывался в своих бунтарских чувствах. Он, казалось, хотел многое сказать, но не знал слов... В вытянутой руке он держал зажигалку. – Все смотрите! Я капитан Советской Армии! Солдаты и офицеры, смотрите! Вот так... С нами. Со всеми нами!

Идя к плацу, Павел вспомнил послужной список капитана Найденова, начальника штаба реактивного дивизиона. Андрей Найденов окончил военное училище в Ленинграде, служил в Архангельске, в афганском Кандагаре; должно быть, за примерную службу угодил на «богатые хлеба» в Западную группу войск в Германию; долго не женился, но и разгульно не жил; говорили, что в Германии берегли с женой каждый пфенниг, чтобы потом на Родине жить честь по чести... Справный офицер, не шальной, как Шадрин. Не пререкался, на рожон не лез. Не шутник. Даст слово – исполнит. Это сейчас опаснее всего, предупредил себя Павел. На секунду, на невообразимую секунду Павел Ворончихин стал в положение Найденова: у Найденова на глазах умерла жена и ребенок, еще не родившийся ребенок, будто бы заранее приговоренный.

– Командир! – оскалившись, выкрикнул Найденов, увидев Павла на крыльце штаба. – Смотрите! Все смотрите!

– Ведро бензина сюда. В моей машине – канистра. Быстро! – сквозь зубы, без огласки, приказал Павел старшему лейтенанту Самохину. Самохин



вмиг скрылся среди военных, кинулся к командирскому «уазу».

– погоди, капитан! – выкрикнул Павел, вышел на плац. Толпа военнослужащих перед ним расступилась. – погоди, найденов!

– Чего мне годить? Мне нечего годить! Мне все ясно! Все ясно!

– всё-таки выслушай меня, найденов! – выкрикнул Павел.

– Чего мне слушать? Я уж всё наслушал! Вы им, им всем говорите! Мне уже не надо говорить! нас всех предали! пускай остальные видят... Им, им говорите!

Капитан найденов дрожал, нервно трепыхался. Он, наверное, не поджигал себя лишь по одной причине: он хотел что-то главное, последнее, самое обидное и больное прилюдно высказать, выразить, выплеснуть в лицо командиру полка. Но слова где-то терялись, мысли, видимо, прыгали, самосжигались в боли от утраты, и он только дрожал, напрягался, стоя в луже солярки, облитый соляркой. Губы у него негодующе тряслись.

Солдаты и офицеры в плотное кольцо обхватили плац, но к найденову поджимались осторожно. Если кто-то пытался заговорить с ним или делал шаг к нему, найденов взбешенно вскрикивал:

– Не подходи! назад! – На зажигалке в вытянутой руке вспыхивало пламя, и толпа военных испуганно и сострадательно шарахалась назад. Смельчак-доброхот отступал от капитана, чтобы не навредить...

Краем глаза Павел Ворончихин заметил, что расторопный Самохин тащит ему красное пожарное ведро, расталкивает людей.

– По-олк! – с командирской свирепостью прокричал Павел. – Слушай мою команду!

Все оцепенели.

– Кру-гом! – приказал Павел.

Все обступившие капитана Найденова нечетко, но неукоснительно исполнили команду.

– Пять шагов – шагом марш! – прогремел над головами голос Павла.

Все повиновались приказу, отшагнули от Найденова на пять шагов.

– Полк! – еще одну команду выбросил по-командирски Павел Ворончихин. – Стоять «смирно»!

Теперь он один на один остался с капитаном Найденовым. Окружавшая толпа солдат и офицеров светилась затылками. Конечно, кто-то подглядывал, крутил головой, косил глаза, но это не меняло картины в целом. У ног Павла Ворончихина стояло пахучее ведро с бензином, на маслянистой радужной поверхности бензина, серо, сталисто отражалось весеннее пасмурное небо.

– Капитан Найденов, Андрей, я буду с тобой равным. Здесь бензин. – Павел подхватил ведро и опрокинул его себе на грудь. Сладко-масляный, обволакивающий дух бензина перебил дыхание Павлу, и ему пришлось говорить тише. Он отшвырнул ведро. – Теперь мы равны, капитан! Я тебе не начальник, не командир. Я иду к тебе!



– Стойте! Стойте, не подходите! Товарищ полковник! – выкрикнул Найденев.

Но Павел Ворончихин шел неколебимо. Он для себя уже все решил.

– Брось зажигалку или поджигай нас обоих, – негромко сказал Павел за пару шагов до капитана.

Найденев опустил голову, сник. Когда Павел подошел к нему вплотную, капитан тихо сказал:

– У меня жена умерла, товарищ командир. Она беременная была. На восьмом месяце.

Павел Ворончихин обнял капитана Найденева:

– Андрей, наши отцы войну прошли... Легко, Андрей, служить, когда в стране порядок и мир. А ты послужи, когда везде бардак, предательство. Война тихая, подлая... Русский офицер должен иногда жить стиснув зубы. Вот так-то, Андрюша.

Павел почувствовал, как промокший от солярки капитан Найденев дрожит от плача.

VII

Случай с капитаном Найденевым стал известен в дивизии, в армии, в штабе округа. Он никого не подстегнул к действиям. Число самоубийств в армии нещадно нарастало. Из Германии тем временем в Россию катил эшелон за эшелон. В штабе сухопутных войск округа наконец-то прояснили положение: от артиллерийской части Павла Ворончихина оставить один наиболее боеспособный батальон и придать его мотострелковому полку, который также подвергается реорганиза-

ции, остальные подразделения расформировать. Приказом начальника сухопутных войск военного округа командиром мотострелкового полка назначался полковник Ворончихин П. В. Место дислокации полка: Московская область.

Прежде чем заступить на новую должность, Павел выкроил для себя несколько суток отпуска, чтобы навестить в Вятске мать. Перед отъездом в Москву – добираться нужно было на перекладных – он решил зайти в местный магазинчик поселка «Коммунар», взглянуть: вдруг что-то подберет экзотическое для матери в гостинец.

Он был одет в гражданскую одежду, потому и не спугнул солдата из своей части. Фамилию этого рядового Павел не знал, но внешне его запомнил с полковых разводов. Белесый – почти альбинос, тощенький, неуклюжий, форма на нем сидит абы как, косолапит. Рядовой ошивался у дверей магазина, – то ли играл роль затюканного горемыки солдата, то ли впрямь был забит и унижен по службе.

– Мелочи, пожалуйста, дайте! Хлеба купить... Мелочи, пожалуйста, – кланчил солдат у входящих и выходящих покупателей. Не у всех, выбирал женщин или мужчин старшего возраста.

Павла будто перевернуло вверх тормашками. Стиснув зубы, он кинулся к солдату, с недюжинной силой сграбастал его за ворот шинели и за ремень, оттащил за угол магазина и вlepил наотмашь пощечину – расквасил нос.

– Прочь! Вон отсюда! Подлец! Армию позоришь!



Ты же солдат, а не нищий! Не бродяга! Вон отсюда!

Солдат рукавом шинели утирал кровь из носу, швыркал, ничего не говорил, не оправдывался. Он сперва, видно, не признал командира полка, а потом отшатнулся от Павла, рванул бегом прочь. Косолапо зашлепал по весенним лужам и поселковой грязи. Полы шинели тряслись. На бегу у него с головы упала в лужу шапка.

Павел потер ладонь, которой ударил солдата по лицу. Гадостное чувство наполняло его — рука ныла: противно бить человека по лицу, до крови, тем более подчиненного, который тебе не ответит. На душе — укор: «Твой солдат побирается — ты виноват. Ты командир! Ты за всё в ответе!» Что возьмешь с этого замухрышки рядового, он еще и года не послужил (одна желтая полоска на рукаве)! Может, его «деды» послали сшибать деньги, может, служба заставила попрошайничать... Солдат хочет есть, пить, курить. Сегодня для солдата это выше присяги, выше чести... Ему нужно физически выжить! Плевать он хотел на погоны, если на эти погоны плюнуло государство. За солдатом нет настоящей боеспособной армии, нет цельного народа, нет страны...

В поселковый магазин Павел Ворончихин не пошел.

В поезде, по дороге на родину, рука у Павла все, казалось, ныла от бесправного мордобоя. Сонм темных мыслей одолевал его.

Армия, народ, страна... Какая-то безжалостная разрушительная сила двигала армией, народом и

страной. Высший офицерский корпус, главнокомандующие родов войск, командующие округов, казалось, ничего не решали: у них на глазах деградировали армии, дивизии, полки. Министр обороны Язов, казалось, лишь кивал головой Горбачеву, принимая любое политическое и вещественное унижение армии. Народ, сбитый с толку перестройкой, чуял в проводимых реформах скудоумие власти и подлый подвох, который слитно готовили яростные вражины с Запада и пятая колонна внутри страны. Но народ был безголос, бесправен, оболган и усыплен демагогией вечно блядовитой интеллигенции, дорвавшейся до газетно-журнальных свобод. В вакханалии этих свобод даже идеологические структуры КГБ смолкли и самоуничтожились. Да и сам Горбачев, побираясь перед Западом, казалось, уже ничем не управлял. Всё пошло вразнос: Варшавский Договор, СЭВ, мировой социализм... В стране пылал Карабах, лилась кровь в Киргизии, бунтовал Тбилиси; Прибалтика митингово выбиралась изпод советской оккупации; казахи, у которых до создания СССР никогда не было государственности, нагло выживали русских с исконных казачьих земель, Западная Украина, наливаясь, по примеру польских шляхтичей лютой русофобией, задиралась на москалей, требуя самостийности... Нет, Павел Ворончихин не мог одним замахом мысли объять страну, понять ход современной истории, не мог даже вычленить главное — роковое, — а не понимая этого, не видя врага и очага растления,



невозможно было с ними бороться. Даже не ясно было, кому и чему сопротивляться.

Бунт майора Шадрина, который запретил своему сыну Егору поступать в военное училище и сам отрекся от службы, бунт капитана Найденова, готового с отчаяния и горя на самосожжение, бунт самого Павла, побившего несчастного побирушку рядового, не выправят разложение армии, не спасут страну, не изменят ход истории. Бунт должны поднять те, кто способен явственно влиять на положение.

«Кто-то должен поднять бунт наверху! Пресечь!» – думал Павел.

Он стоял в коридоре вагона, смотрел в окно. Москва, многоликая, многокрасочная, фундаментальная и розничная уже осталась позади. Впереди простиралась провинциальная серенькая житуха...

Апрельское тепло очистило землю. Снег лежал только кое-где в ложбинах, в лесу под хвоей разлапых елей, да иногда белел под придорожными грудками мусора. Мимо окон проносились небольшие селения, с убогими надворными постройками и покосившимися заборами, бревенчатые дома стояли темны и казались сырыми, не просохлыми после снежной зимы. Какие нарядные ухоженные селения были в Германии! В побежденной Германии...

По вагону шла группка цыган. Кучерявый цыган с золотыми зубами, за ним двое цыганок: одна старая, широколицая, размалеванная крас-

ной помадой, другая молодая, бледная, с огромными кольцами в ушах и с ребенком на руках.

– Эй, ваеный! – негромко сказал цыган. – Водки хочишь? Недорого. Качествинный водка. Очинь качиствинный. Не «рояль»...

– Нет, не хочу, – отмахнулся от цыгана Павел.

Уезжая из Москвы в Вятск, Павел увидал надпись на бетонных придорожных плитах: «Мишка + Райка = две суки».

VIII

– Христос воскресе!

– Воистину воскресе!

– Христос воскресе! – торжественно, из последних сил оглашал храм старенький отец Артемий пасхальным призывом.

– Воистину воскресе! – хором отвечали наполнявшие церковь Вознесения люди.

И вновь:

– Христос воскресе! – вещал духовный пастырь.

– Воистину воскресе! – зачарованно и умиленно ответствовала толпа.

Среди радостных голосов и просветленных лиц – голоса и лица отца Георгия, в миру Константина Сенникова, и Павла Ворончихина. Свершилось великое чудо – вознесение Сына Божьего. Вместе с тем будто с плеч каждого верующего свалилась какая-то ноша, давая телу роздых, душе – свет и чистоту помыслов. Взгляд устремлялся на лик Спасителя, губы шептали в



слаженном всеобщем порыве:

– Воистину...

Константин и Павел обнялись и троекратно расцеловались:

– Христос воскресе!

– Воистину воскресе!

Они провели в церкви всю пасхальную вечернюю службу, прошли крестным ходом под хорутвьями, с песнопениями вокруг храма, вновь возвратились под пылающие от многочисленных свечей и зажженных ламп расписные своды церкви и теперь радовались со всеми... Радовались тому, что в мире, во всем мироздании что-то непостижимым чудесным образом разрешилось, прозрело и уладилось; радовались запаху ладана и свечного воска, белой сахарной обливке пасхальных куличей и лукошку крашенных в луковом отваре пасхальных яиц; радовались встрече с людьми, незнакомыми, но чуточку родными, объатыми в эту апрельскую ночь всеобщей верой и счастьем воскресения Господа; радовались махоньким мышкам на ветках верб, которыми был украшен храм; радовались тому, что пришел час, когда что-то наносное, хлопотное и суетное, без чего не обходится обыденная жизнь, вдруг становится легковесным, необременительным, превращается в шелуху, под которой наконец-то проступает самое главное, самое истинное, что скрыто и заключено в словах «Христос воскресе!»

Отсюда, из сверкающего, многолюдного храма Вознесения, Павел Ворончихин даже в тупиковые мрачные углы своей службы смотрел замиренно.

Офицерские судьбы, судьба всей армии, народа, страны, казалось, зависели не от каких-то единичных политиков, коалиций или военных блоков, а от высшего Божьего промысла и покровительства. За трагедией шло воскресение. Способны ли люди управлять трагедией и воскресением после трагедии? Люди пешки, их воля хаотична, будущее — неведомо...

В поселке «Коммунар», вблизи его части, восстанавливали церковь, начались службы, но Павел Ворончихин туда ни разу не заходил, не хотел дразнить злоязыких сослуживцев: вот, дескать, коммунист челом бьет... Павел не отрекся от ленинской партии, лишь вразрез Ленину считал веру делом сугубо интимным, частным; в этот личный предел он не хотел допускать никого, даже с женой Марией не обсуждал этого. Но здесь, в родном вятском храме, у кладбища, где похоронен отец, рядом с Константином, Павел был по-граждански одет, равен со всеми, простодушно открыт и приветлив. Константин, выделявшийся среди паствы монашеской рясой, целовался с кем-то из прихожан, — следом и Павел обнимал незнакомца или незнакомку и говорил ответно в праздничном гуле «Воистину...»

Эту немолодую женщину в темном плаще, в сиреневом платье, с припухшим носом и в очках Павел не признал сразу, но почувствовал, что стать, не согбенная годами, и некая внутренняя неистраченная спесь ему знакомы. Чего-то как будто не хватало в ее облике, чтобы сразу опреде-



лить, кто она. Павел стал наблюдать за ней и вдруг прозрел: «Завуч! Седая... Очки сменила... Кирюха! Эх-ма! Отпетая атеистка в церкви? Кто это с ней?»

Рядом стояла девочка-подросток, неприметная, с бледным худым лицом, в сером беретике. В одной руке она держала зажженную свечу, другой – крестилась.

– Глянь, Костя! Завуч из школы. Она тебе доучиться не дала... Портрет Ленина нести заставляла.

– Кира Леонидовна? – радостно воскликнул Константин. – Где она?.. Ах, вот! – Он сходу направился к неггибаемой назидательнице.

И Константин, и Павел обнялись с ней, как полагается на пасхальный праздник, троекратно поцеловались.

– Я сразу узнала вас, ребята, – призналась, подраскрасневшись, Кира Леонидовна. – Подходить постеснялась... Вы простите меня. Особенно вы, Костя.

– Да что вы! Не за что мне вас прощать! Бог всем судья, – сказал Константин, глядя в лицо завуча с добрым участием. – Вины вашей нет ни в чем. Время бесовское было.

Кира Леонидовна скромно покивала головой.

– Герка, сын мой, помните? Умер... – вдруг сказала она.

– Царствие небесное! – перекрестился Константин.

– Он пожарным работал. Его в Чернобыль отправили на ликвидацию. Там облучился. Потом

по больницам. Так и не выжил... Это дочка его, Алина. Она крещеная. Говорит, пойдём, бабушка, в церковь... — Она вздохнула, с любовью кивнула на внучку. — Директриса Ариадна Павловна тоже умерла, болезнь у нее неизлечимая. А Геннадия Устиновича, помните учителя физкультуры, инсульт хватил. Только по дому потихоньку ходит. В последние годы мы вместе живём.

— Чем помочь вам, Кира Леонидовна? — спросил Константин.

— Нет-нет, ничем. Спасибо! — испуганно отказалась Кира Леонидовна. Пристально взглянула на Павла. — Брата вашего Алексея очень хорошо помню... Извините, ребята.

Они расстались. Девочка Алина продолжала креститься и, видно, шептала какую-то молитву.

По дороге домой Константин признался Павлу:

— Аттестат зрелости я так и не получил... Но я, Паша, почему-то знал, что все перевернется. Когда я из Вятска уходил, на нашу школу посмотрел и подумал о ней, о Кире Леонидовне, о безбожнице... Хочешь верь, хочешь не верь, подумал, что в церкви ее встречу. Будто почувствовал... Душа человеческая к вере тянется, как младенец к матери. У нас мать, мать Церковь очернили, но не подумали: младенец-то остался, душа-то жива. А душе надо свет Господа... Вон оно как! Кира Леонидовна сама родную внучку в церковь привела. Господь через боль и к ее душе дорогу проложил. Людям только кажется, что они сами дорогу избирают. Силы небесные...



Стояла ясная теплая апрельская ночь. В небе светили звезды. Тонкий месяц висел на небосклоне – тонкий, яркий, как спираль лампы. В рытвинах и обочинных канавах тускло блестела вода. Где-то шептался сам с собой последний ручеек: снег уже повсеместно стаял. Земля затаилась, притихла. Земля копила в себе тепло и силу, чтобы пробудиться, ярко облить склоны зеленой порослью, первоцветом. Дух обновления, дух весны наполнял атмосферу, щемил душу счастьем детства.

Константин шел очарованный. Иногда он поднимал голову кверху, к звездам, и идущая с ним в ногу его тень кострыжилась приподнятой бородой. Вероятно, Константин беспрестанно говорил сам с собой и лишь иногда прорывался на откровения с Павлом.

– Я с каждым годом, Паша, все больше чувствую в себе присутствие предков. Человек не умирает... Прадед мой иногда говорит во мне. Будто он моими устами движет. Я даже чувствую, что крест так же, как он, кладу... Ох, как жаль, Паша, что нельзя с теми, старыми людьми, повидаться! Они знали что-то такое, самое важное. В них крепкости больше было, жизненной стойкости. Леша, брат твой, сказал бы – естественности... Почему его сейчас с нами нет? Я по Леше иногда так скучаю, что сердце болит.

– Я тоже, – суховато, ревностно поддержал Павел. – Занятой он у нас. Коммерсант...

Константин помолчал, и казалось, его мысль об Алексее и растворенная в воздухе тоска по нему

затерли мысль о старых, ушедших людях, – нет, он по-прежнему заговорил о них:

– Постичь науки, ездить на автомобиле, летать на самолете... Даже в космос слетать – мало этого, пусто. У жизни есть ткань, которая дается только Богом... Когда я читаю дневники Варфоломея Мироновича, я эту ткань почти осязаю. Само слово у него – уже есть материя... И любовь – материя. Силу этой материи мне мама доказала. От нее любовь лучилась. Каким же она сильным человеком была! Я только теперь об этом догадываюсь.

– А с отцом у тебя как? – спросил Павел.

– Перед отцом я очень виноват. Даже Феликса его не спас, выпустил... – отвечал Константин с раскаянием. – Я жалею отца теперь пуще всего. Бог ему любви мало в жизни дал. Любви окружающих. В том числе и моей, сыновней любви.

– Твой батя герой, – сказал Павел. – На войне ему любви хватало. Он был победителем. В мире жить оказалось трудней... Я по себе знаю: четыре года в Афганистане отслужил. Там было понятней, чем здесь и сейчас. Здесь врага не видать. И сам себе цены не знаешь... Федор Федорович в Германию входил победителем. Я свой полк выводил из Германии будто гнилой оккупант. – Голос Павла похолодел, налился тяжестью. – Офицеры в военной форме стыдятся ходить. Пьянство. У нас в дивизии за последние месяцы четыре самоубийства старших офицеров. Веры нет никому ни в чем... Я перед отъездом солдата избил. Он у магазина христорадничал. Но с солда-



том-то ладно. Найду его, извинюсь. Он молодой – переживет, позабудется... Как офицерским женам в глаза глядеть? Они в бараках с детьми как беженцы. Было б ради чего терпеть – они б терпели.

Константин слушал настороженно. Он был далек от военной службы, но обнаженно-болезненный нерв друга чувствовал.

– Паша, погоди! – остановился Константин. – Я подарок хочу тебе сделать. – Он расстегнул глухой ворот рясы. Снял с шеи на тонком шелковом гасничке нательную иконку. – Это наша фамильная. Оберег. От прадеда... С Георгием Победоносцем.

Павел осторожно взял в руки иконку, вытянул на руке, чтоб разглядеть под уличным фонарным светом. В изящном золотом овале с тонким витым обрамлением на лицевой стороне был изображен в барельефе Святой Георгий, разящий змея; на тыльной стороне оберега слова молитвы: «Услышь нас, Святой великомученик добропобедный, и моли Господа от скорбей избавить нас».

– Это же реликвия! Произведение искусства! Я не могу принять от тебя такую дорогую вещь.

– Как же ты меня оскорбишь! – воскликнул Константин. – Да мне нет ничего приятнее, чем думать, что этот подарок у тебя будет. Прими, Богом молю! – настаивал он. – Тебе этот оберег нужнее. У него есть чудодейственное свойство. Случится тебе, Паша, быть на перепутье или важное решенье принимать, ты этот оберег в руку возьми, согрей его своим теплом, а после сам

оберег тебе свое тепло отдаст. Господь наставит...

Они шагали дальше. Константин говорил зажигательно:

– Есть воля человека, а есть воля Господа. Его волю нам понять не суждено... Всё внешнее в этом мире по воле Божией творится. Всё, что внутри человека: сострадание, любовь, благородство – личной воле человека подчинено. За это, мне думается, человеку и суд Божий. Не за внешнюю жизнь – за внутреннюю. За искушения, за соблазн, за те деяния, что нашим греховным помыслом диктованы...

Нечаянно Константин ступил в незаметную слякоть подсохшей лужи. Ступил-то бы не беда, – беда поскользнулся. Павел поддержать его не успел. Константин грохнулся; худой – сгромыхал костями.

Павел помогал подняться ему, а он хихикал:

– Это бес мне лужицу подсудобил. Чтоб не чесал языком зря!

«Весь бок в грязи, а хохочет! – подумал Павел, поймал себя на мысли, что ни разу не слышал от Константина матерного или черного бранного слова; сам уличил себя в сквернословии: – Видать, грязные больные слова из больной души рвутся».

Константин оправил свое длинное платье, перекрестился:

– Грязь обсохнет, очистится... Ночь-то какая, Паша! Светло повсюду. Христос воскрес!



– Воистину воскресе!

IX

Череп сидел на скамейке перед домом, грелся на весеннем солнышке, смолил табачок, щурился, словно сытый кот...

– О! Костя – попок, мохнатый лобок! – живо приветствовал он вышедшего на крыльцо Константина.

– Христос воскресе, Николай Семенович!

– Уж две тыщи годов у вас, у попов, всё «воскресе»! Проку только для русского мужика нету.

– Что так? – огорчился Константин.

– Да вот так-то так! – Череп жестоко размазал каблуком по земле окурок, неспроста размазал: в последнее время немало людей – даже бабы для своих мужиков – собирали окурки; на «сигаретные талоны» курева мужикам не хватало, а Черепу было жутко противно, когда кто-то склонялся за чинарем; сам он зазорной участи избежал: Серафима – торговый работник, ей перепадало побольше, чем на талонную отмерку. Череп поднял на Константина лукавый взгляд: – Был я как-то в одном монастыре, название не помню, в Крыму. Так там возле церкви – кладбище. Всё богачи да вельможи лежат. Ни один простой солдат или крестьянин не положен. Вот потому попов в народе не особо и почитают. Церковь русские любят, а попа нет... Поп к богачу нос тянет. Нынешние попы жулье взялись обслуживать.

Константин вздохнул:

– Поп в алтаре служит, да не в алтаре живет.
Соблазна вокруг много.

Череп расхохотался, огляделся близ себя,
поднял с земли небольшой булыжник.

– Соблазнов, говоришь, много? На-ко вот тебе,
– протянул Константину голыш. – Соблазни-ка
его... – усмехнулся. – Кто хочет соблазняться, тот и
соблазняется. Как баба блудливая!

– Подарите мне его, – вдруг попросил Констан-
тин, оглаживая камень.

– Хоть тыщу штук! – воспрял духом Череп. –
Разговляться-то когда будем? Праздник для всех
праздник. Я тоже православный. Яиц крашенных
зарубаю, куличей... Водки выпью, елочки
пушистые.

Константин ласкал в руках приглянувшийся
серый голыш.



* * *

Август растаял свежестью дыма
листьев сожжённых.
Осень приснилась и затаилась
в омутах сонных.

Дней, утомлённых пепельным
зноем,
как не бывало.
Медное облако над головою
ткёт покрывало.

Ткёт и шивает нитями света
грустные дали.
Птиц перелётных слышится где-то
первая стая.

* * *

Иволга мне сказала,
что лето настало,
и всё не так безнадежно.
Птичий язык понимать несложно.
В нём так же, как у людей –
о жизни и смерти.
Вы уж поверьте.



**ОЛЕГ
ВОРОПАЕВ**

Поэзия



* * *

Который день в кармане ни гроша.
Над головою сень чужого крова.
Всё пил, но не хватало куража.
Всё говорил, но не хватало слова.

И женщина всё жаловалась мне,
что счастье есть, но не хватает чуда.
Я отвечал, что съеду по весне,
что тень моя похожа на верблюда.

И снова пил, и думал о другой.
О той, что не заплакала, не спела
и даже улыбнуться не посмела
над чьей-то незаконченной строкой.

Который день мне чудится гроза
и голоса, сплетённые из ветра...
А женщина всё прятала глаза,
похожие на выцветшее лето.

* * *

Мы сразу стареем, когда покидают нас матери,
Становимся в чём-то попроще и в чём-то добрей,
И сетуем всё, как же мало мы времени тратили
На самое, может быть, главное в жизни своей.



Земные пути неизбежно стекаются к Млечному,
И мертвенно холоден этот безрадостный мрак.
А мамы... они никогда не умели быть вечными.
О, как мы уверены были, что это не так!
Ах, мамочка-мама!.. Отчаянье. Поиски лекаря.
Ну, хоть бы денёчек... ну, хоть бы ещё пожила!..
Спасти!.. Уберечь бы!..
Да только беречь уже некого.
Молчанье. Кладбищенский колокол. Ветер. Зола.

* * *

Дней исступлённое вороньё
готов гнать я.
Мама, зачем
ты примеряешь
смертное платье?
И говоришь тихо:
«Пожалуй, в этом...»
Голоса полутон
разрывает эхом.
Шепчешь: «Всему свой черёд».
И голову держишь прямо.
Детство моё
в улыбке твоей, мама.
Детство моё
и твоя беззащитная старость.
Время распалось.

* * *

Годы горели, грели.
Не догорели... треть...
Мы и пожить не успели,
а начинаем стареть.

Думалось – сквозь реку,
времени ворожбу.
А возвращаться некуда,
даже когда ждут.

* * *

Над бездной не надо махать руками
и замирать у края, чтоб что-то выгадать.
Над бездной не стоит дружить с дураками,
а то, ей богу, захочется прыгнуть.

А дуракам того лишь и надо.
Плечами пожмут, мол, поэтом меньше,
и, стало быть, меньше теперь разлада
на этой земле из-за водки и женщин.

Август

Ветер в деревьях августа –
заговорённая лютня.
Плачь обо мне, красавица,
злыми слезами плачь.



Я не умею быть праведным,
ты это знаешь лучше...
лучше, чем этот ветер
и тополиный гул.

Вечен закат багровый,
в близости губ вечен –
вяжет и плещет кровью,
чёрною кровью дней.
Плачь обо мне, красавица,
я не смогу быть верным:
верным бывает вереск
у боевых дорог.

Плачь обо мне, красавица.
Это и есть правда!
Вороновым прищуром
август мудрее нас.
Лютня!.. Ты слышишь лютню?
Старая-старая песня.
Песня, в которой вечность.
Плачь обо мне, плачь.

* * *

Мы сели напротив.

Желая быть всех пьяней,
я пил за тебя и твоё сумасшедшее платье.
Ты, наклонившись, сказала: «Приди, согрей...»
Но я не хотел быть трезвым в твоих объятьях.

Потом награждали героя. Играли туш.
Он плакал от счастья и тихо ругался матом.
И кто-то пустил слушок, что это твой третий муж,
Но оказалось – враньё... Шестой или пятый.

А третий был пьян и всё порывался сыграть
на сваленных в угол осколках аккордеона,
и ныл, что фата – моргану ему не догнать.
«Кого? – переспрашивал пятый.
– Вы разве знакомы?»
Я понял, что тоже «готов», когда мы вышли под
дождь,
и сумасшедшее платье твоё превратилось в пену.
Но слово «любовь» ты рифмовала со словом
«дрожь»,
и не было рифмы точнее во всей Вселенной.

* * *

Обманула про подружек,
улетела на метле.
Но и я кому-то нужен
на завьюженной земле.

Но и я чего-то значу
для коварных поэтесс.
Потому и не заплачу
под просторами небес.



После войны. Воспоминания об отце

Ставрополь в серо-голубой дымке ранней послевоенной поры...

Всматриваюсь, вслушиваюсь в него, вдыхаю горячие степные ветры, приносящие горькие, как полынь, и терпкие воспоминания детства. А бывает, нахлынут они теплым дождем, зазвонят, как бубенцы, запрыгают солнечными зайчиками в шелковых травах – и день станет прозрачным и легким, как пушинка. И таким спокойным, мирным...

Мой отец ушел на войну в июне 1941 года и закончил ее в Берлине, расписавшись на Рейхстаге. В 45-м вернулся домой, в родной Ставрополь. Война оставила на нем отметину: в 41-м он был тяжело ранен, осколок снаряда застрял в нескольких санти-



**ТАТЬЯНА
ТРЕТЬЯКОВА-
СУХАНОВА**

Проза



метрах от сердца – слишком близко для того, чтобы военные хирурги смогли его извлечь. Так и носил отец этот осколок в своем теле до самой смерти, испытывая постоянную боль в груди. Помню, как часто он вставал по ночам, ходил по комнате тяжелыми шагами, тихо постанывал, боясь разбудить домочадцев. Курил – это, казалось ему, унимало боль. О чем он думал в эти часы?.. Не отпускала его война. Но отец никогда и никому не жаловался, лишь говорил иногда: «Спасибо и на том, что остался живым. Повезло – оказался в мотоциклетном полку. В пехоте погиб бы: досталось ей лиха!»

Заветная тетрадь

Была у отца заветная тетрадь, которую он сохранил с войны. В моменты передышки между боями он записывал в нее слова песен, которые особенно нравились солдатам и часто ими пелись.

Помню, в первые годы после войны отец почти каждый вечер доставал эту тетрадь, садился в облюбованный им уголок комнаты – и тихо затягивал песню. Это было не просто пение: хорошего слуха и голоса у отца никогда не было, но в песне его чувствовалось другое – движение по течению памяти, погружение в личное, пережитое им на войне, которое не избывает во времени.



Слушая отцовские песни, я всегда представляла дорогу: длинную-длинную, то засыпанную снегом, то бесснежную, скованную крепким морозом, а то ухабистую, оmozолевшую от колес машин, с тощей пыльной травой по обочинам. Трудную долгую дорогу – уводящую прочь от войны.

*Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато –
Есть у нас еще дома дела, –*

до сих пор слышится мне откуда-то издалека родной голос отца.

Папа Котик-киса с усами.

История смешная и грустная

В нашем доме стоял большой деревянный сундук. Был он своеобразным музеем семьи, в котором хранились вещи не всегда нужные, но дорогие сердцу: письма, пожелтевшие листки переписанных нот, старинные платья и башмаки, веера, дореволюционная кофемолка, пуговицы разного времени и еще много всякой всячины. На дне сундука лежала, завернутая в полотенце, бабушкина икона, которой благословляли ее на брак родители. На внутренней же стороне крышки мелом было написано: «Котик». Надпись эту давно, еще ребенком, сделал отец. Так ласково

называла его мать, сокращая имя Константин: Костик – Котик. И это теплое, материнское «Котик» всегда согревало его, напоминало ласку ее рук.

Наверное, именно поэтому в письмах с фронта отец всегда подписывался – «Котик». А когда после короткой побывки дома по пути из госпиталя у него в 42-м году родилась дочь Оля, моя старшая сестра, он стал делать для нее в письмах особые приписки – коротенькие детские стихи, рисунки. И подпись тоже была особая, смешная: «Папа-Котик-киса сусами».

Оля не видела отца до окончания войны. Когда, после чтения очередного письма, она спрашивала у мамы: «Папа мой – котик?» – та отвечала ей: «Котик!» Так Оля себе его и представляла... И когда отец наконец вернулся, Оля, увидев его, испугалась и заплакала – обиженно повторяя: «Папа мой – котик! Киса сусами!»

Конечно, потом она приняла отца и полюбила его. А сундук со временем совсем обветшал, его освободили от вещей и вынесли во двор – вместо скамьи. Снега и дожди, просачиваясь сквозь щели, смыли папину надпись на крышке. Потом рассыпался и сам сундук...

Когда я вспоминаю эту историю, рассказанную мамой, мне всегда становится грустно. Дети войны, не видевшие своих отцов долгих четыре



года, – а кто-то так и не увидел их никогда.

Можно ли с этим смириться?..

Пушкин на войне

Мы с сестрой часто просили отца: «Расскажи о войне». Он задумывался, лицо его тускнело – видно было, что говорить ему о войне не хотелось. А потом вдруг как-то лукаво улыбался и предлагал: «Давайте-ка лучше почитаем Пушкина!»

Надо сказать, что отец был большим книголюбом, ценителем русской классики – Пушкина, Гоголя, Толстого. Пушкин был ему особенно близок: он знал наизусть множество его стихов, мог прочесть по памяти целые главы «Евгения Онегина». Нам же, детям, он чаще всего читал сказки – «с выражением», подбирая особую интонацию для каждого из героев. Слушать его было для нас праздником – спустя годы я буду стараться точно так же читать книжки своей дочери...

Заканчивая чтение, отец закрывал маленький, потрепанный томик Пушкина – но долго еще держал его в руках, словно бы не в силах расстаться с этой книгой. Как-то я сказала ему: «Папа, эта книжка совсем старая! Давай купим новую – “Сказки Пушкина” с картинками!» «Обязательно купим. Но этого Пушкина я не променяю ни на что – я проносил его с собой всю войну! Он помог

мне сохранить любовь».

Лишь став взрослой, поняла я всю глубину его слов: как важно – даже в самых тяжелых, критических обстоятельствах – сохранить в себе любовь, не потерять человека в человеке.

О том, как воевал отец, рассказали много позднее, уже после его смерти, наградные документы, выложенные в открытый доступ Министерством обороны. Немного косноязычные и, кажется, будничные строки: «В бою под городом Пятигорск под сильным артиллерийским огнем противника старший сержант Третьяков К.П. спас своего раненого военкома батальона, после чего вскочил мотоциклом на поле боя и героически уничтожил из автомата наступающую группу немецких солдат»...

Отца давно нет в живых, а его томик Пушкина занимает почетное место на полке в моей библиотеке. Открываю его и думаю – ведь таких историй много: сколько солдат пронесли в своих вещмешках томики Пушкина, Лермонтова... Книжки, помогшие пережить им ужас войны – и сохранить любовь, сохранить человечность.



Оборонительный ров

Я родилась в послевоенный год. Помню, как в первом классе по пути к школе я проходила оборонительный ров, оставшийся с войны. Весь поросший жесткой травой, с утра он был глубок и молчалив. Но нас, детей, он непреодолимо манил: несмотря на строгие запреты родителей и учителей, грозивших взрывом уцелевшей гранаты и увечьем, после уроков мы забирались в него – и играли в войну. Здесь разворачивались бои, слышались залпы орудий, стоны бойцов, тяжелое дыхание санитарок, выносящих раненых... Завершалось все, конечно, победой, – нашим громким, почти ошалелым «урраа-а!» Помню, никто не соглашался в этой игре на роль «фрицев»: все ребята были бойцами Красной армии, а враги у нас были только мнимые. Много разных предметов находили мы здесь: гильзы от патронов, обрывки одежды, черенки лопат. Я нашла маленькую пуговицу со звездочкой, принесла домой и положила ее в подаренную отцом шкатулку.

Через некоторое время ров засыпали землей. Еще через какое-то время на этом месте построили дома, посадили тополя и липы. Цветной детский мячик весело катился по новым асфальтовым дорожкам... Жизнь – мирная, с ее высоким голубым небом, с облаками, замершими в безветрии, словно кроны цветущих деревьев в утреннем

саду, с этой особой глубокой утренней тишиной, – снова воцарилась на земле.

Дети перестали играть в войну.

А пуговица со звездочкой до сих пор лежит у меня – вместе с драгоценными фронтовыми наградами отца: орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»...



Абрикосовое зарево

Полыхнуло белым пламенем
Абрикосовое зарево –
Небо вширь и ввысь
раздвинулось,
Засияло синим бархатом
И повисло чистым пологом,
Лёгким дождиком умытое.
Воздух плотный,
полный сладости.
Я в душе, как с детством
встретился -
Полный сил, надежд и радости.

Жаль, недолог праздник юности.
Вот уже снежинкой первую
Лепесток пахучий падает,
И пойдёт гулять по улице
Ароматная метелица.
Растворится, потеряется
Пламя белое весеннее...
Что-то от него останется,
Что-то из него получится?

Пусть не все надежды сбудутся,
От обиды не укроешься,
Но подарком мне останется
Абрикосовое зарево!



**НИКОЛАЙ
АНАНЬЧЕНКО**

Поэзия



Мы помним

Не надо плакать.
Сцепите зубы.
Пусть в честь погибших
играют трубы.
Слагайте гимны,
откройте души,
Ведь наша память
умеет слушать.
Пусть ложь чужая,
как яд, сочится,
Мы помним наших
героев лица.
Мы свято помним,
мы не забыли –
Они Европу
собой прикрыли.
Герои пали,
но мы – их дети,
И за планету
теперь в ответе.
Нет, злые бредни
нас не сломают,
Есть в нас защита
Девятым мая!

Не мог иначе

Предательски слабли колени,
Пот струйками тёк по спине.
А морда быка, в клочьях пены,
Всё ближе, всё ближе ко мне.



Что я для него, для громилы –
Мотнёт головой и – конец.
Ведь в нём, словно в тракторе, силы,
А лоб – не пробьёт и свинец.

Но страхом своим обозлённый
Так, что под рубашкою взмок,
Знал твердо, что быть побеждённым
Никак, ни за что я не мог.

Не мог, потому что за мною
Стояла всех в мире милей,
Девчонка с пушистой косою,
В цвет спелых пшеничных полей.
И бык, взрыв стерню, словно плугом,
Вдруг встал и, тряхнув головой,
Вздыхнул и, как будто с испугом,
Меня обошёл стороной.

Да будет...

Создав небесный свод ночной,
Он был в хорошем настроенье
И украшал своё творенье
Узором звёздным и Луной.

Потом придумал Он рассвет.
Старался, красок не жалея.
И тот уж, нежно пламенея,
Багряный оставляет след.

Немало Он вложил труда,
Но результатом был доволен.
И, сидя на своём престоле,
Сказал: «Да будет КРАСОТА!»

Коварная...

В любой толпе всегда одна,
Всегда таинственна, жеманна.
Увидев – вмиг лишишься сна –
Так недоступна и желанна.

Она сверкает, словно лёд,
И холодна, как Антарктида.
Её девиз: «Всегда вперёд!».
Она – тореро, жизнь – коррида.

Бессчётно день сменяет ночь,
Она без устали порхает.
Поманит и умчится прочь
Вдруг обнадёжит и ... обманет.

Бывало, что и я стонал,
Ругал коварство, чуть не плача,
Но ей лишь ведомый финал
Несёт коварная Удача.

На рыбалке

Костёр уют нам создавал,
Уха густела от навара,
Был нашим Мирозданья зал!
Жаль, чуть фальшивила гитара...



Чограй* на нас катил волну,
Туман струился лёгким паром.
Он укрывал от нас Луну.
И... чуть фальшивила гитара.

Шептали что-то камыши,
Дымилась степь, как от пожара,
Мы пели «Тройку» от души,
Но... чуть фальшивила гитара.

Кусты покрылись куржаком,
Погодка-то не для загара.
Мы тесным сгрудились кружком
И... пусть фальшивила гитара.

Рыбацкой удалью полны,
Мы блёсны натирали яро.
И плеску утренней волны
Без фальши вторила гитара.

Рыжая осень

Быть может, ваша осень золотая,
У нас же ярко-рыжая она.
Смотри, смотри! Вон рыжий лист летает,
А ночью выйдет рыжая луна.

И солнце утром рыжими лучами
Раскрасит в рыжий и поля, и лес
Нас рыжими накормит калачами,
И рыжим загорится край небес.

Вон девочка бежит в лесную просинь.
Волос взлетает рыжая волна.
И я шепчу ей вслед: «Спасибо, осень!
Ах, как же эта «рыжесть» мне нужна!»

Точка замерзания

...А ветка билась о стекло,
Как будто слёзно умоляла
Впустить её в уют, в тепло,
Что б на ветру не замерзала.

Осенний ветер к ней суров.
Сорвал листву, протяжно воя.
А ей хотелось тёплых слов,
Хотелось тишины, покоя...

А я стоял, смотрел в окно.
Я понимал её терзанья.
Стоял в тепле, но всё равно,
Был близок к точке замерзанья.

Порой так хочется тепла,
Не от печи, от соучастья.
От добрых слов и ночь светла.
Наверно, в них основа счастья.



Октябрьский поцелуй

*«Хорошо только
короткое счастье»*

*И. Бунин «В такую
ночь...»*

Весь сегодняшний вечер я бродил по аллее, где впервые увидел тебя, но ты так и не появилась. Если быть точным, я бродил с четырёх дня до восьми вечера, всё время, пока работал бювет. Он открывается в 4.30, но я специально пришёл раньше, подумав, а вдруг ты захочешь прогуляться перед тем, как выпить воды, как это делают многие отдыхающие. И стал караулить сначала у входа на аллею, а потом ходить взад-вперёд, предполагая, что ты можешь появиться из глубины парка, на одной из боковых тропинок. С аллеи плохо просматривались ступеньки, поэтому, ничего не дождавшись, за пять минут до открытия бювета я переместился на площадку, чтобы видеть всех, кто подни-



**ВЕРА
СЫТНИК**

Проза



мается и входит в полупустое здание. Однако людей с каждой минутой прибывало.

Через тридцать минут огромная очередь выстроилась у дверей. Перед тем, как зайти в павильон, люди надевали на свои лица маски. Набрав воды, шли на улицу и снимали. Мировая пандемия не давала никому расслабиться. Очередь то удлинялась, то сокращалась, и пропала только часам к семи вечера. Я не заходил внутрь, боясь пропустить тебя, но ты не появилась. Подождав минут пятнадцать после закрытия бювета, так и не выпив воды, я направился домой. Дурацкие мысли лезли в голову. Меня обуял страх: наверное, ты была в маске, и я пропустил тебя. Не узнал. Испытав космический ужас, я тут же оборвал глупые предположения: как можно пропустить твой распахнутый притягивающий взгляд? И глаза с тонкой поволокой? Как можно не узнать твои тёмные пушистые брови, слегка изогнутые в едва уловимой иронии? Твой высокий лоб, на котором застыла печать холодной надменности? Всё это я узнаю в толпе.

Я увидел твоё лицо открытым, когда столкнулся с тобой несколько дней назад в конце аллеи. Шёл, задумавшись о работе, оставленной в Китае, и глядел под ноги. Внезапно что-то дёрнуло меня. Я поднял глаза. Ты шла навстречу и смотрела на меня в упор. Несколько секунд! Всего лишь несколько секунд ты смотрела на меня своими удивительными глазами, в которых читалось



холодное любопытство. Чем-то я привлёк твоё внимание. Возможно, тем, что мои волосы, отросшие за девять месяцев, были собраны в растрёпанный хвост под затылком, а нелепая борода, которую я поклялся сбрить, как только Китай откроет границы, торчала, словно пакля, в разные стороны. Я едва не споткнулся от неожиданности. И хотел приосаниться и ответить тебе взглядом, который сразил не одну женщину, но ты уже отвела глаза и прошла мимо.

Ты прошла, а я остановился, пытаюсь сообразить, что случилось. Несколько секунд, когда наши взгляды общались, рассказали мне о тебе так много, что я оторопел. С реакцией на внешние обстоятельства у меня всё в порядке, могу в доли секунды ответить на удар или колкое слово. А тут будто дыхание перехватило и спеленало ноги! Стою столбом вместо того, чтобы бежать за тобой. Когда наконец обернулся, ты уже исчезла. Я медленно побрёл по аллее. Глядел перед собой, но не видел парка, людей, а видел всю тебя, какой ты запомнилась: надменно-ироничное лицо, любопытство в глазах, прямые волосы откинута назад, лимонно-жёлтый кожаный пиджак распахнут, стройные ноги в узких джинсах, красные кроссовки с жёлтыми шнурками легко ступают по неровностям дорожки. В руках красная сумочка. Невольно подумалось: такие девушки не ходят по улицам, тем более, без сопровождения. Они существуют в отдельном мире и показываются

случайно, когда легко выпрыгивают из автомобиля и шествуют к дверям роскошного бутика. А тут – в старом, заросшем парке, одна...

Ты была словно залётная случайная птица, невесть каким образом очутившаяся в незнакомой среде. Птица, чей вид говорил о существовании прекрасных стран, где всё весело, ярко, солнечно, куда обычным птицам не долететь. Но не это поразило меня. Меня пригвоздила к месту бездонная пустота, что притаилась в глубине твоего любопытствующего взгляда. Я понял, что в той стране, откуда ты прилетела, нет любви. Что ты не знала любви. Не знала и страданий. Что всё в жизни тебе давалось легко и просто, что тебе это нравится, и всё тебя устраивает. Но почему-то в тот момент, когда ты посмотрела на меня, обросшего, бородатого, угрюмого, в тебе что-то прорвалось и на секунду хлынуло наружу. И я увидел, как ты несчастлива в своём лимонно-жёлтом оперенье. Как одинока и растеряна.

Всё это – в который раз! – я перебирал в памяти, когда, напрасно проторчав сегодня у бювета, направился домой. Вечерело. Шёл и думал о том, что в городе три питьевых источника и что ты можешь ходить к любому из них. И как, в таком случае, мне встретить тебя? Но дерзкая, упрямая уверенность, что ты захочешь ещё раз увидеть меня, непонятно на чём основанная, добавляла огня моим думам. Неожиданно я развернулся и, помедлив, пошёл ускоренным шагом к противоположному выходу из



парка. Туда, куда удалилась ты несколько дней назад. Что-то заставило меня торопиться, почти бежать. Промчался мимо семнадцатого бювета, мимо фонтана. Проскакал вверх по ступенькам, очутился на центральной площади и увидел тебя, выходящую из такси. Ты была не одна. Выйти из машины тебе помог холёного вида мужчина слегка лысоватый, в очках. «Муж!» – стукнуло в мою голову и неприятно кольнуло под ложечкой. Не ухажёр, не отец, а муж. Только супруги могут так привычно, без трепета, подавать друг другу руки и при этом молчать.

Выходя из машины, ты, обернувшись, упёрлась взглядом в мои глаза. Не подала виду, что узнала. О чём-то поспешно спросила мужа и так же поспешно отвернулась. Этого было достаточно, чтобы понять – ты обрадовалась нашей встрече. Муж в ответ на твой вопрос неохотно пожал плечами и так же неохотно пошёл за тобой. Ты чуть впереди, он сзади. Вы прошли мимо, спустились по лестнице и скрылись за дверями кафе. Шлейф духов остался витать в воздухе. Я поспешил за вами, чувствуя, что теряю голову. Зачем я пошёл? Ведь было ясно: ничто мне не светит. Этот холёный монстр не спускает с тебя глаз. Подозреваю, что в тот день, когда мы столкнулись с тобой на аллее, он сидел где-нибудь рядышком и разговаривал по телефону.

Поняв, что ты под охраной, я, тем не менее, не слыша доводов разума, зашёл в кафе. Устроился



там у окна, за колонной, и стал наблюдать за вами. Думаю, ты заметила меня, поэтому вела себя несколько скованно. Жеманно посмеивалась и нарочитым жестом откидывала волосы от лица. Вероятно, смеяться было нечему. Непохоже, что твой спутник говорил тебе что-то смешное, но ты посмеивалась. Для мужа твоё поведение было не внове, иначе он не пил бы свой кофе с таким невозмутимым видом. Мне удалось хорошенько разглядеть вас. Сегодня ты была в голубом платье с крупными пуговицами и в чёрном плаще, который ты кинула на спинку кресла. Голубой цвет очень шёл к твоему лицу, ты казалась трогательно-нежной, не такой надменной, как в прошлый раз. Однако губы по-прежнему складывались в ироничную полуулыбку. Муж, сняв с себя куртку, оказался в чёрном, в квадратах, свитере. Квадраты как нельзя лучше подчёркивали его крупные уши и бычью шею. Бывший боксёр? Возможно, судя по тяжёлым плечам и покато́й спине. На вид – лет шестьдесят или около того. Тебе бы я дал лет тридцать. Залётные птицы! Откуда вы здесь? Вы смотрелись двумя яркими пятнами, которые раздражали людей. На вас оглядывались и шипели вам вслед. «Вот оно в чём дело! – подумал я. – Рано вышла замуж. За богатого человека, гораздо старше себя, который ни в чём тебе не отказывает. Но всё это без любви». Вы сидели недолго. Ты не прикоснулась к чашке. Бросив в мою сторону насмешливый взгляд, запрещающий преследо-



вать тебя, решительно поднялась и двинулась к выходу. Муж бодро пошёл за тобой. Я остался сидеть, но в окно заметил, как вы поднялись по лестнице и повернули налево, в сторону, где была одна из лучших гостиниц в Ессентуках. Странно было видеть вас на сером фоне площади под тусклым светом фонарей.

Сидел я долго и не заметил, как кафе наполнилось людьми. Стало шумно и душно. Расплатившись, вышел на улицу. Был поздний вечер. Солнце садилось. Редкая крона каштанов, позолочённая закатными лучами, образовала над старым парком сетчатый шатёр. Деревья отбрасывали слабые тени. Под ногами шуршала опавшая листва. Давно умолкли птицы. Вороны, в большом количестве прыгавшие по полянам, разгребали листья, чтобы найти спрятанные белками и сойками припасы. По первости парк нагонял на меня тоску, но потом я привык к нему, к его запущенному виду, к разгромленным лестницам, корявым тротуарам и состарившимся беседкам. Более того, если бы не парк, не бесконечные прогулки по его ухабистым тропинкам, моё вынужденное заточение в крохотном курортном городке было бы невыносимым.

Я шёл, размышляя о превратностях судьбы, о том, что, если бы не мировая пандемия, не карантин, по причине которого я не могу вернуться в Китай, к работе, я никогда бы не увидел тебя. Надо же было такому случиться: давно не хожу к источ-

нику, не пью воду. Надоело. А тут, намедни, решил, что изредка буду пить, по настроению. Пошёл и увидел тебя. Ну и что с того, что – увидел? И даже разглядел! Что с того? Подступиться к тебе не было никакой возможности. Я всё это понимал, однако, чувствовал, что за всю свою сорокалетнюю холостяцкую жизнь ни разу не встречал такой, как ты, красавицы. Нет, не в этом дело, что ты, и правда, красавица. Красивых женщин я видал немало. Но среди них не было ни одной, по взгляду которой я был бы готов на любое безумство, от вида которой меня бы бросало в дрожь. Омерзительная, унижительная по своей остроте боль вдруг захлестнула меня. Я понял, что ближайшие дни будут подчинены одной-единственной цели: найти и поймать твой взгляд. Хотя бы это. Я чувствовал, что готов, как собачонка, бегать по городу в поисках тебя, сторожить у дверей отеля, у лестницы бювета, в кафе, на старой аллее – где угодно, лишь бы увидеть тебя ещё раз. Зачем? Я этого не знал, да и не хотел знать. Не хотел знать ничего, что могло бы оторвать меня от мыслей о тебе.

Ночь прошла будто в бреду. Я засыпал и снова просыпался, и так бесконечно, пока, не измучившись вконец, не выскочил из кровати в пять часов утра. Принял холодный душ, размялся, выпил крепкого кофе и сел за компьютер. Но работа не шла. Голова гудела, вместо экрана видел твоё лицо. Оно насмешливо улыбалось. Надменный лоб искажала лёгкая морщинка, словно пред-



упреждая меня о непреодолимых преградах между мной и тобой. Поволока в твоих глазах сделалась тоньше. Но я не мог разглядеть за ней пустоту, которая так напугала меня вначале. Постой, постой... Не может быть. Глюки! Вгляделся, напряг веки так, что потекли слёзы, и увидел, что пустота исчезла. И тогда я понял, что ты готова на что угодно, лишь бы увидеть меня. В кошмарном волнении я свалился в постель и крепко уснул. Поспал часа два. В 7.15 меня как будто пронзило током. Бювет открывается в 7.30. И хоть я и понимал, что ты вряд ли придёшь пить воду в столь ранний час, всё же помчался сломя голову в парк в надежде, что ты скоро там появишься.

И ты появилась. В девять часов я увидел, как ты с мужем, – ты чуть впереди, он за тобой, – идёшь по центральной аллее парка. У меня сердце так и упало. Я отвернулся и стал глядеть в противоположную сторону. Боковым зрением заметил, как лимонно-жёлтый пиджак проплыл недалеко от меня, едва не коснувшись моей руки, и замер у входа в бювет. Вы оба достали маски, надели, зашли в павильон. Вместо того, чтобы обогнуть здание и встать там, где люди, набравшие воды, выходили со стаканчиками в руках, я ринулся за вами следом. Мне не хотелось упускать тебя из виду даже на минуту. Заскочил в павильон в тот момент, когда ты закрутила кран и отошла от него. Как ненормальный, расталкивая людей, я бросился

вперёд, чтобы не дать никому прикоснуться к этому крану. Мне хотелось быть первым после тебя, кто дотронется до него. Казалось, что таким образом будет установлена тайная связь между нами. Я взялся за кран, чувствуя, как дрожат мои пальцы, как я взбудоражен и как, должно быть, нелеп! Высокий, с растрёпанным хвостом, бородатый, с крупными глазами, стремительный там, где никто никуда не спешил, я ловил на себе удивлённые взгляды. Но твоего взгляда так и не поймал. Выйдя на улицу, увидел вас, медленно удаляющихся по аллее. Вы пили воду на ходу и не глядели по сторонам. Я сделал усилие над собой и не побежал.

В обед снова караулил вас. И не напрасно. Ровно в час дня вы стояли на лестнице перед входом в буфет. Ты раскрыла сумочку и, не найдя маски, что-то сказала мужу. Тот кивнул, надел свою, вынув её из кармана, и направился в павильон. Как только он скрылся за дверями, ты неожиданно метнулась в сторону, сбежала со ступенек и в нетерпении остановилась, взглядом подзывая меня к себе. Сердце моё заколотилось как бешеное. Я вскочил со скамейки и в три прыжка был рядом с тобой. Ты побледнела, но держалась храбро. Твои глаза совершенно очистились от поволоки и пристально смотрели на меня. Ты быстро, полушёпотом произнесла:

– Завтра в три я буду одна ...

И назвала адрес. Потом вдруг ласково улыбнулась, чем обожгла меня с ног до головы, и тихо



добавила:

– Побрейся. Не люблю бородатых.

Опешив, я остался стоять, а ты ушла скорым шагом, скрылась за углом павильона, чтобы встретиться у выхода с мужем и принять от него стакан с минеральной водой.

Из парка я двинулся напрямиком в ближайшую парикмахерскую, где попросил подрезать волосы и подстричь бороду. Я решил не избавляться от неё, помня о своём обете оголеть подбородок лишь тогда, когда Китай откроет границы. Поэтому лохмы-то убрал, но короткую бороду оставил. Вечером, было, отправился к бювету и передумал. Уж очень не хотелось видеть твоего мужа накануне нашего с тобой первого свидания. Первого... А будет ли второе? Впрочем, зачем заикливаться на этом? Нужно просто ждать, мысленно восторгаясь твоей смелостью. Вечер тянулся невыносимо долго. Я заставил себя сесть за компьютер и трудился до глубокой ночи. Количество документов, которые надо было просмотреть, и писем, ждущих, чтобы я прочитал их, не уменьшалось. Пандемия изменила формы работы. Теперь приходилось много писать, вместо того, чтобы ездить по командировкам. Работать за столом я не любил, но в условиях карантина выбрать не приходилось. Документы, письма спасали от уныния. Унывать я не любил. Мрачное настроение – это не для меня. Так же, как и долгие сомнения. Привык радоваться жизни и при необходимости действовать быстро.

Уснул я часа в три. Перед этим лежал и долго думал, уставившись в темноту перед собой. Вынужденный девять месяцев находиться на одном месте, я приобрёл привычку размышлять, чего никогда не делал раньше. Оказалось, что затяжная остановка может быть полезной в том смысле, что начинаешь понимать некоторые вещи, о существовании которых раньше даже не подозревал. Так, мне стало казаться, что моё вечное стремление работать без передышки сыграло со мной злую шутку. До сих пор не женился, не создал семью! При том, что мог добиваться любых женщин. Не было ни одной, которая бы не покорилась моему обаянию, которое я умел распускать, как павлин распускает хвост. Когда надо было, я петушился. Или пускал в ход показную дерзкую храбрость. Поэтому даже те, кто сопротивлялся, в итоге сдавались, правда, быстро становились скучными. Я ли был виноват, что относился к любви легкомысленно, или мне попадались вероломные пустышки, жаждущие захомутать меня, не знаю.

Факт остаётся фактом: в свои сорок лет я одинок. Случайные связи мне надоели. Все женские лица слились в одну размалёванную физиономию, нагло смеющуюся над моими попытками вспомнить хотя бы одну, расставание с которой принесло бы огорчение. Нет! Всегда только радость освобождения от чего-то липкого, противного, искусственного. Но – какая издёвка планиды! Я,



кажется, встретил женщину... нет, не кажется. Моя душа кричала о том, что все прошлые кратковременные романы – это был не поиск тебя, нет. Это всё было от страха: боялся влюбиться в другую, предчувствуя, что ещё встречу тебя. Боялся, что моя ненастоящая любовь убьёт во мне ожидание тебя. Поэтому так быстро бросал женщин, лица которых даже не помню теперь. И вот наконец встретил тебя. Встретил там и тогда, где менее всего ожидал. Впрочем, чему тут удивляться: однажды я нашёл на пустынном индийском пляже миниатюрного, ростом в половину спичечного коробка, золотого Будду.

Я уснул, но сон был неровный, поверхностный. Предчувствие скорого счастья мешало расслабиться. Ты назначила мне свидание. От этой мысли заходило сердце и млела душа. Китай, пандемия, карантин, закрытые границы – всё это не имело сейчас никакого значения.

Не знаю, не помню, чем занимался до обеда. Наверное, позавтракал, наверное, принял душ, потому что не испытывал приступов голода, а когда надевал рубашку, почувствовал, что волосы ещё мокрые. Высушил их и к двум часам был готов к свиданию. Оглядел себя и остался доволен: костюм сидел безупречно, туфли блестели, борода после стрижки стала темнее, в тон бровей. Жалко, что потерял серьгу-гвоздик, ну, да чёрт с ней. На улице всю светило солнце. Окна в моей временной, арендуемой у смазливой дамы квартире были

распахнуты. Осень стояла замечательно-тёплая. Решил не брать куртку, не люблю наворачивать на себя лишнее. Вызвал такси и поехал по указанному адресу. Это оказалось в пятнадцати минутах от меня – салон красоты. Однако... Что ты подразумевала, когда назначала мне здесь свидание?

Тридцать минут я в страшном волнении кружил по краям пышной, не желающей отцветать клумбы, красующейся перед входом в салон. У меня зарябило в глазах, но ума не хватило, чтобы остановиться и просто ждать. Поэтому при твоём появлении из дверей салона я продолжал кружить, думая, что ты чудишься мне. Остановился, когда увидел твоё лицо прямо перед собой. Ты стояла и улыбалась, и была такой красивой, что я едва не захлебнулся воздухом, со свистом втянув его в себя. Откашлялся неловко, ругая себя самыми последними словами, и застыл, глядя во все глаза на тебя – удивительную. Ты была в чём-то вишнёвом, летящем, что волновалось при малейшем твоём движении, наполняя меня незнакомой тоской. Мне хотелось знать тайны твоего гардероба и того, что скрывала под собой твоя одежда.

– Волнуешься? – спросила ты.

– Жутко, – ответил я.

И как только произнёс эти слова, волнение прошло. Вернее, оно улетучилось при первых же звуках твоего голоса, похожего на нежные звуки металлофона. Почему-то я очень обрадовался. Мне представлялось, что ты должна говорить



глубоким драматическим напевом. А тут – хрустальные перезвоны, которые, если бы можно, я бы собрал в свои ладони и целовал, целовал бы каждую нотку, каждую хрусталинку... Мы пошли рядом, касаясь друг друга плечами, и молчали. Не потому, что не знали, что сказать, а от полноты чувств. Но в большей степени, потому что всё уже было сказано, когда мы взглянули друг другу в глаза. Для нас была очевидной банальность сегодняшней встречи – курортный роман! Что было ждать от него? И в то же время мы оба упрямо сопротивлялись такому унижительному определению. Понимали, что судьба издевается над нами. Загнать в ситуацию, сотни раз проштампованную для других, в то время, как мы презирали подобное, было в высшей степени жестоко. Мы потому и молчали, что были не в силах сказать словами о невозможности жить друг без друга и о безысходности нашей встречи.

Внезапно ты встрепенулась, посмотрела на часы.

– У нас, максимум, тридцать минут.

Я взял тебя за руку. Мы остановились.

– Он следит за каждым моим шагом, ни на минуту не отпускает от себя. Едва вырвалась на маникюр. Готов был идти со мной, но я высмеяла его, сказала, что это невыносимо – так ревновать. В пустом-то городке! Однако если задержусь, будет скандал.

– Как ты оказалась в Ессентуках?

– Всё пандемия! Европа закрыта. А ему нужно

воду пить, для желудка. Вот и поехали сюда. А ты?

– В январе прилетел в Ростов-на-Дону. В командировку. На завод, куда поставляю продукцию. Пока делал работу, то да сё, закрыли границу с Китаем. Я прикинул, где можно переждать карантин, думая, что он продлится недолго, и приехал в Эссенуки. Да и застрял.

– Почему бы тебе не поехать к своей семье?

– Родители в Казахстане, туда тоже всё закрыто.

– Так ты живёшь в Китае? Как можно там жить?

Я там была – грязно.

– Ну, там, где всегда чисто, мне не по карману.

– Ты бедный?

При этих словах ты убрала свою шёлковую ладошку из моей руки. Я разозлился, думая, что ты такая же пустышка, как все. Но ты, оказывается, захотела взять меня за лацкан пиджака и притянуть к себе, чтобы прошептать:

– Ненавижу богатых. Они все жмоты и эгоисты. Надеюсь, ты бедный?

– Не совсем... У меня две компании, гонконгская и китайская.

– Ах. Какая жалость. Но ты хотя бы не эгоист?

– А ты как думаешь, если мне сорок, и я не женат?

– И что же нам делать – двум небедным эгоистам?

– Забыть о таких пустяках. Расскажи о себе.

– Это скучно: МГУ, замужество... Всё. Журна-



листка, не написавшая ни строчки.

– А хотелось бы?

– Уже нет. Зачем?

Ты отпустила мой пиджак, и мы пошли дальше. Я не стал продолжать расспрашивать, подозревая, что тебе это неприятно.

– Через два дня мы улетаем. Ты встретил меня слишком поздно, мы здесь уже две недели.

– Остаться, продлить отпуск нельзя?

– Невозможно. У него – работа.

– Я полечу за тобой.

– Куда?!

Ты рассмеялась. Смех прозвучал приговором для меня. Стало понятно, что ты никогда не скажешь, где живёшь, и даже не назовёшь своего имени, чтобы не рисковать. Наверное, ты догадалась, что я не из тех, кто отступает, а из тех, кто готов идти до конца, если дело касается любви. Остановившись, ты прикоснулась пальцем к моей щетине. Волна пробежала по всему моему телу. Я едва сдержался, чтобы не схватить твою руку и не впиться в неё поцелуем.

– Упрямый, – определила ты с усмешкой, проведя кончиком пальца от одной щеки к другой через подбородок.

Ощувив, как я напрягся, отдернула руку.

– Задержись, – попросил я.

Ты покачала головой, откинула назад волосы. И мне стало очень жалко тебя. До слёз. До спазма в

горле. Я понял, как сильно ты не свободна.

– Зачем нужна такая жизнь? – спросил я.

Ты молчала.

– Разойдись! Выходи за меня. Переезжай в Китай! Будешь писать и печататься.

– Там грязно, – сказала ты. – Бежать от мужа не разведясь, всё равно, что дразнить быка красной тряпкой. Он меня никогда не отпустит. Согласится, чтобы я ему изменяла, но не отпустит.

– А ты изменяешь?

– Нет. Зачем? Да и не вижу кандидатов. Разве не знаешь, что в наших кругах мужики перевелись? Остались одни расписные матрёшки.

– Ты молода...

– И что?

– Разве не хочется влюбиться?

– Хочется. Я и влюбилась. В тебя. Мука! Предвижу ад впереди. Как жить теперь?

– От тебя зависит превратить ад в рай.

Ты промолчала в ответ. Снова взглянула на часы и жалко так улыбнулась:

– Мне пора...

– Мы увидимся?

– Не знаю. Он стережёт меня.

– Какие есть процедуры, чтобы ты могла отсутствовать хотя бы два часа?

– Есть и на три часа, и на полдня. Да что толку? Он всегда найдёт способ проконтролировать. Представь, уже звонил сюда на ресепшн, чтобы



мне передали, что он ждёт меня у фонтана. Естественно, не будь меня здесь, ему бы об этом сказали.

– Как же насчёт того, что он готов терпеть твои измены?

– Готов. Но лишит меня денег. А в данном случае силой увезёт на следующий же день, как заподозрит неладное. Выхода нет.

Ты вызвала такси. Машина приехала через пять минут. Все пять минут мы неотрывно смотрели друг на друга, пытаюсь запомнить каждую чёрточку в наших лицах. Я заметил несколько тонких морщинок у тебя под глазами и потянулся поцеловать их, но ты отстранилась. Наклонила голову, скрывая взгляд, и слегка упёрлась лбом в мою грудь. Я замер. Запах твоих волос почему-то напомнил мне детство, когда для счастья надо было так мало, всего-то – степной простор, велосипед и ветер в лицо. Ты села в такси. Не оглянулась. Не махнула рукой. Не улыбнулась. Укуталась в свой вишнёвый наряд и уехала, увозя с собой мой былой оптимизм и браваду. Ты содрала с меня шкуру, и я понял, что никогда не буду прежним. Таким, каким нравился женщинам и себе, таким, каким никогда бы не хотел быть рядом с тобой.

Я почувствовал, что похолодел от пяток до макушки. Почувствовал, как что-то незнакомое сжало мне сердце, поползло по всему телу, схватило за шкуру и готово было шмякнуть меня об асфальт. А, может быть, и шмякнуло, потому что боль во всём теле была адской. Будь у меня писто-

лет, я застрелился бы в сию же минуту, только бы не чувствовать боли. В это время увозившая тебя машина дала задний ход и остановилась неподалёку. Ты выскочила из неё и подбежала ко мне. Обняла и горячо зашептала, оживляя меня своим дыханием:

– Нет, нет, так нельзя, милый, так нельзя... Надо жить дальше, чтобы знать, что мы есть на свете! Мне будет тяжело без тебя... Но в моей золотой клетке появилась... Знаешь? Знаешь, что появилось в моей клетке?

Ты тряхнула меня несколько раз. Я тупо смотрел на тебя, не понимая, почему я ещё жив, если ты вернулась, чтобы сказать о том, что никогда не вернёшься. Но ты продолжала тормозить меня и добилась того, что я тоже обнял тебя и крепко прижал к себе.

– В моей клетке появилась мечта написать о нас с тобой книгу, – продолжала ты. – Думаешь, не получится? Думаешь, это смешно? Пойми, меня будет спасать мысль, что ты есть на белом свете. Что где-то ходишь, работаешь, ешь, спишь, мотаешься по своим командировкам, делаешь чище Китай... и, может быть, может быть...

– Молчи! – крикнул я сдавленным голосом. – Не продолжай. Не подавай надежду. Пусть будет так, как будет.

Ты замолчала. Привстала на носочки и поцеловала меня.

Поцелуй наш был долгим. Он вернул меня к



жизни. Собрал в кучу то, что только что было размазано по асфальту. Тепло поцелуя согрело меня и освободило от неведомой силы, вцепившейся в мой загривок. В твоей сумке надрывался телефон, но ты продолжала спасать меня. И оторвалась, когда почувствовала, что я вне опасности. Взглянула на меня полными слёз глазами, провела ладонями по моим щекам и ... уехала.

В этот день я напился. Рядом с салоном было кафе. Я направился туда и напился. Не помню, как вернулся домой. Два последующих дня провалился в постели. Не раздвигал штор. Не мылся. Не ел. Спал и смотрел телевизор, не понимая, что в нём. Или сидел в кресле и думал. О чём? Не знаю. В конце третьего дня, вечером, привёл себя в порядок и пошёл через парк к той гостинице, где тебя уже не было. Зачем? Ведь я знал, что вы уехали. Однако поплёлся. Постоял на крыльце, представляя, как ты вышла из гостиницы, немного грустная, задумчивая, в лимонно-жёлтом пиджаке, как не отвечала на вопросы мужа, как медленно села в такси, как оглянулась в надежде, что я гляжу на тебя из-за ближайшего столба, и как незаметно для своего монстра промокнула глаза.

Я открыл дверь и оказался в холле. Плюхнулся на диван и стал смотреть по сторонам, на девушек за стойкой. Неожиданно одна, поймав мой взгляд, внимательно на меня посмотрела, улыбнулась, взяла что-то из-под стойки и направилась ко мне.

– Это вам, – сказала она уверенно и протянула

мне свёрток.

– Мне? – удивился я. – Вы уверены?

– Уверена, мне так и сказали: высокий, с хвостом и короткой бородой. Всё сходится. Это вам.

Девушка положила свёрток на столик передо мной и удалилась. Развернув пакет, я обнаружил в нём книгу. Иван Бунин «Рассказы». Вложенная между страниц закладка подсказывала мне путь. Я раскрыл сборник и прочитал выделенную жёлтым маркером строчку: «Хорошо только короткое счастье». Я вздохнул. Без напряжения, спокойно вздохнул, соглашаясь с тобой и Буниным. Вспомнил твоё лицо и мысленно послал тебе свой прощальный благодарный поцелуй. Захлопнул книгу, встал и вышел из отеля.



О счастье

Падает редкий дождичек.
Бреду, бесшумный, как молния,
/вонь и пепел
и раскаты боли
были, будут...
Всё ещё далеко
позади/...
Бреду и голой ступней ощущаю
теплоту обожженной почвы,
острые покалывания камешков,
кривизну, и тяжесть,
и человекообразность
планеты...
Это и называю счастьем.

Шествие

Медные склоны вечерние
грузных предгорий
прежни.

Ропот тележный
мерный.

Медленно
сумрачные тополя полощутся
в редкой синьке неба.

Немо.
Пусто.



**СТАНИСЛАВ
ПОДОЛЬСКИЙ**

Поэзия





в свитере девчонка – в зелёном
прибрежном кафе...

Тайна

Есть широкая тайна, колеблющаяся
в пределах сине-зелёного спектра.
Если тайну убрать –
останется грязным и пустынным
полмира –
только тайна их существо,
тайна, у кромки которой
складываем мы свой каменеющий мусор,
надоевшие боли свои,
всю угрюмую бренчащую мелочь
дремучего быта,
тайна, у которой
скользим по поверхности,
не задумываясь, откуда пришли
эти волны, эта мощная власть глубины...

Есть широкая тайна, колеблющаяся
в пределах инфракрасного
и ультрафиолетового...

Мгновенье жизни

Мгла нежно-сизая.
Воздух опаловый.

Тополи – древние
странники бедные
в чёрных истлевших плащах.

Вот и каштан растопырил
почки – торчком – богатырские,
жить примеряясь.

Вот и акация – точною
вязью – неистово врезана
в свет нестерпимо серебряный
неба вечернего.

Острый сырой холодок.
Сумерки грустно-лиловые.
Сердца удары громовые
в свежей простой тишине
бедности, мира, души...

Огни

Юный свет этих лиц исхудалых,
свет голода жизни
и любви молодой...

Как керосиновые лампы,
эти лица проносятся,
лица юношей и девушек прекрасные,
лики юности мировой,
озарившие мрак и копоть
моего полдня пылающего...



Последние известия

Вязкая тишь нависла.
Серая связка туч.
Влажное бельё на веревках,
опутавших двор общежития,
не шелохнется.
И тяжёлый голос
единственной в мире
женщины
вещает на всю страну
смертельные новости...

Ясность

Жгучей январской ночью
в лунном,
возвращаясь от любимой
по звонкой степной дороге,
понимаешь внезапно
и пронзительно:
чище,
выше,
острей,
ясней
не было
и не будет.

Отражение

Поэт как отражение
на стекле трамвая грохочущего,
сквозь которое
проклеваются фонари,
видны афиши и тротуар,
ласточки и прохожий...

Поэт как тень
на стекле трамвая вечернего,
сквозь которую
виден
мир.

Выпитая река

Судьба реки пересохшей,
судьба многоводной реки,
избравшей свой путь
в сторону от болот,
вдаль от больших водоемов.
Судьба реки, уходящей
в песчаные степи.
Судьба полноводной реки,
выпитой на бегу
травами и лесами,
ящерицей и землёй,
птицами и небом,
лошадью и мотором,



женщинами, ветрами,
геологом-кочевником.
Судьба реки, затерявшейся
в горючих просторах и в людях...
Судьба реки
и – поэта
истинная судьба.

Друг

Если есть у тебя Друг,
пусть за тридевять земель,
если есть у тебя Друг,
пусть за тридевять времён, –
жизнь становится душистей и свежей,
полной смысла и ожидания...

Один человек

На руке, прижимающей
гнусавящий транзистор,
на руке, удерживающей
зловонную сигаретку,
на руке, сотрясаемой
безудержным просыпанием
секунд электронных,
на руке, давно не мытой,
подрагивающей во хмелю,
вытатуировано воззвание тёмно-синее
к людям и Богу –
«SOS!»



побросали в цветок огневой.
Споро поспела печёнка.
Ели, радуясь и обжигаясь...
Руки умыли. Ушли – по домам.

Угли выстыли. Жизнь отошла.
Пепел. Холод. Безмолвье. Закат.
Запах в воздухе хмуром растаял.
Тени выросли. Свет отпылал...

Сколько было всего –
золотого, душистого, чистого...

Что это было?

Дом детства

Из пленок и реек
на скорую руку,
на живую нитку,
кое-как слепленный,
где стены из старых
новостей газетных,
деревьев и горизонтов цветущих,
надломленных,
а крыша из неба, конечно,
где всюду сквозит
из дырок сиятельных
догадок и узнаваний,
парит халабуда стрекочущая,
домик ветром подбитый, шаткий

шалашик на ладан
дышащий,
памятный,
нерушимый...

Струна

Жильной струной
между небом и пашней,
между вчерашним и завтрашним,
между случайным и правдашним
пою на ветру...

Так моя жизнь
мою мощь перевила
в песню мою.



ЛЕГЕНДЫ
СТАВРОПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

**Я огненного
времени птенец**

*Поэт – война – читатель:
попытка литературного
дайджеста*

Год 2020 – юбилейный: восьмидесятилетие В.И. Слядневой совпало с юбилеем Великой Победы. Именно эти два события во многом определили деятельность библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой. Валентина Ивановна не просто помнила войну: война жила в ее сердце незаживающей раной, день за днем диктуя сердцу поэта берущие за душу строки

«... О войне стихов я не пишу,
И в слова о смерти не играю.
А с бойцами в бой сама хожу
И не понарошку умираю»...

«Она была из поколения детей войны. С младенчества



**ТАМАРА
ДРУЖИНИНА**



разделила со страной невиданные беды и утраты, – писала в своем очерке о В.И. Слядневой заслуженный работник культуры, журналист Н. Быкова. – Первые годы ее жизни совпали с военным лихолетьем, наверное, оттого и память о войне у нее своя – ребячья, но преломленная годами взросления. Как война прошла по одной конкретной семье? Что пережили они и перечувствовали? Валентина Ивановна вроде бы и помнить-то особо этого не должна, поскольку в детской памяти многое со временем стирается. Но кто заглядывал в сборники ее стихов, тот знает, что архетип военной памяти в них – один из доминирующих. Конечно, свою роль сыграли многие факторы. И то, что отец вернулся с фронта инвалидом, и что семья не один год перебивалась с картошки на воду, а мать билась одна с тремя детьми... Но удивительное дело: в личных ощущениях войны девочки Вали, ставшей поэтом, доминируют не трагические ноты, а по-своему позитивный мотив преодоления – того же голода, иных лишений и неустройств».

Журналист зорко подметила, что именно в преодолении выработывался характер, закладывалась судьба, обозначался выбор поэтом своего жизненного пути и главной по жизни военной темы, когда «в незначительных бытовых, пейзажных зарисовках, таких детских капельках войны, отразились куда более масштабные –



всенародные переживания». Верно и то, что в стихах о войне лирический герой В. Слядневой почти всегда молод, впрочем, это не мешает автору видеть себя как бы старше прошедших через войну отца, дяди, односельчан. Будущая поэтесса жадно впитывала в себя любую информацию о военном лихолетье. Война в её детском сознании навсегда осталась как бескрайняя степь, по которой «куда-то вдаль уходят нечеткие фигуры немецких солдат, причем уходят странно медленно, в звенящей тишине, без выстрелов и взрывов». Но ведь это не просто образ, а образ художественный, собирательный; образ поэтический.

«Вообще не понимаю, как я выбилась из той жизни, книжки читала, ходила за стадом», – позже запишет В.И. Сляднева в своих воспоминаниях. Может, потому и «выбилась», что в редкие минуты отдыха, словно в награду, были даны ей сладкие минуты «... бегать в библиотеку за новой книжкой. Всегда в труде, в поле, на току, на огороде... Наверное, так жизнь меня крепко соединила с народным языком, народными судьбами», – писала о своём детстве Валентина Ивановна.

«Кто мы без истории и памяти? (Все – куда б нас тропка ни вела?!) Отними их и – уже мы в панике: «Где опора – воздух для крыла»...», – писала В.И. Сляднева в одном из своих стихотворений. Писала, как думала. С ощущением внут-

ренней, органической преемственности времён и событий. Это чувство пронизывает всё её творчество в описании жгучей правды о «сороковых-роковых» - как надежная «опора» и «воздух для крыла».

С осознанием именно этого факта в Ставропольской краевой библиотеке имени В.И. Сядневой создавался Литературный календарь «Я огненного времени птенец», посвященный 75-летию Великой Победы. Скромный размерами, он чуть больше блокнота. Тем не менее, по сути это – глубокое издание, сделанное с любовью и уважением к личности поэта. Считается, что у календарей цель вполне себе прагматичная (он верный помощник, когда хотим заглянуть в будущее или назначить срок исполнения дел). Так – да не так. Подобно тому, как название календаря «Я огненного времени птенец» выросло из стихотворной строки В.И. Сядневой, сам он «вышел» из мемориальной деятельности библиотеки и, несомненно, внес свой значимый вклад в знание о Поэте.

Юбилейная дата Победы сегодня – это не только праздник со слезами на глазах, но ещё и наша всеобщая задача восстановить Правду о войне и во всей её чистоте и величии. На всю жизнь для Валентины Ивановны День Победы оставался самым большим праздником. То, что в Литературном календаре эта правда приходит к



читателю через жизнь и творчество поэта – очевидца и свидетеля событий, делает её ещё более зримой. У календаря простая и строгая логика: поквартальное деление дат с последующей «раскадровкой» листков на месяцы. Каждую страницу украшают стихи либо прозаические отрывки автора и картины известного художника Юга России, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза художников России Д. С. Гущина. Здесь художник – как чуткий камертон времени и событий. Его кисть не только воспроизводит суровую реальность лиц и природы на войне. Это всегда хрупкая жизнь в присутствии смерти. Краски – коричневатые, бело-серые – дымные, словно притушенные. В полном соответствии с тем, как В. И. Сляднева описывает в своих произведениях воспоминания детства. «Война. Куда девались краски? Земля войной обожжена... Убиты детство, нежность, ласка – И только Родина жива».

Художник в творческом дуэте с поэтом – честный бытописатель, но ещё и летописец, у которого на вооружении сюжеты, формы и краски. Одна из основополагающих картин Дмитрия Гущина «Наступление» метафорична. На фоне серо-розового пространства куда-то вдаль движется колонна. Она без начала и без конца. Не понятно, зима, это, осень или холодная весна – время года не важно. Важно лишь, что это – ВРЕМЯ ВОЙНЫ.

Все идущие – в одинаково белом или сером. Лиц нет – только движение. Справа на переднем плане огромный Т-образный столб, он как крест, которого не миновать ни одному из бойцов. Что это? Крестный путь защитников своей земли? Путь на Голгофу, когда умереть значит победить? Или святой образ, знак ЗАЩИТЫ праведных перед лицом смерти? Ведь эти солдаты общим подвигом, одной на всех Победой обессмертили себя в веках. Эти вопросы-ответы, как размышление художника о войне наедине с собой и одновременно со всеми.

Каждый информационный «трехмесячник» снабжен той или иной прозаической вводной из сборника воспоминаний В.И. Слядневой «Перепелиная душа». Благодаря такому ходу, поэт как бы входит в доверительный разговор с читателем и сразу же даёт ему определенную фору – автор заранее верит в полное понимание друг друга. «Я хочу поблагодарить тебя, дорогой Читатель, за то, что ты со мной заодно. Я так думаю. Без этой веры мне было бы нелегко, как бывает нелегко одинокой птице одолеть пространство при перелете, как нелегко было бы солнцу, не знай оно, кому светит».

Вместе с художником мы, сегодняшние, смотрим на военные иллюстрации как бы с высоты прошедших лет, защищенные этой «высью». Другое ЗНАНИЕ у поэта. Время Великой войны и



великой Победы уходит, а ощущение боли у «переживших» её остается. Поделиться драгоценным знанием, – вот к чему стремится Поэт.

«Аты-баты...» – шли солдаты Через всю страну! Если б только было можно, Чтоб – не на войну, Чтобы падали на землю Понарошку все! «Аты-баты...» – шли солдаты По золе, росе, ... И мечтали поле сеять, И вязать венцы... «Аты-баты...» – шли солдаты, Деды и отцы».

Стоит внимательно вчитаться в строки стихотворения-считалки Валентины Слядневой. «Аты-баты...» – это, как отсчет дней, судеб, событий, потерь. Ни грани пафоса: слова простые, искренние. А трогают до слез, потому что с нами, читателями, вдруг происходит удивительное чудо, когда душа с душою говорит. Пора военных испытаний – это часть существа Поэта, некая мера вещей и поступков: несешь ли ты достойно ответственность за слова и дела? Отсюда такая пронзительная нота «Война – ни апреля, ни мая, И сердца остуда, и хилость... Зачем же, скажите на милость, О ней всё пишу я, не знаю. Она мне самой надоела! Я жгу безотцовщину в строчках, Я рву испытания в клочья, Но всё – бесполезное дело. Никто не сотрет мою память И раны мои не залечит! Опять мне вести о ней речи, На землю с убитыми падать... Войны опостылел мне холод. Хотя б отпустила немного! Но нет же, стоит у порога, Стоит, никуда не уходит.»

Жесткое откровение. На разрыв души. И такое же предельно жесткое художественное выражение чувств в картине-иллюстрации Д.С. Гущина «В степном краю». Словно на надгробной доске, на чисто выструганное сиденье деревенской табуретки брошены букет колючих цветов, изношенная пилотка со звездочкой и то ли тыква, то ли солдатская каска... Тому, кто видел смерть и беды войны, всю жизнь потом в самых простых вещах чудятся её символы. Художник Гущин не видел войны – детство прошло в первые послевоенные годы. Но именно рассказы отца, кадрового офицера и участника Великой Отечественной, питали его творчество.

Логика размещения живописных работ в календаре – это история развития военных событий: от вступления фашистских орд на территорию СССР и до взятия рейхстага. Картины Д. С. Гущина (любезно предоставленные библиотеке Ставропольским краевым музеем изобразительных искусств) – не иллюстрации, они самоценны. Здесь есть место и метафоре, и иносказанию; особенно важно умение автора заставить нас в малом эпизоде увидеть нечто большее. («Непокоренная земля», «Наступление» «Молебен на границе», «Родники»...) «Не спрашивай, сынок, какой была война! У бабушки своей возьми ты ордена. С тех пор, как военком их в дом принес, Она слепа, слепа она от слёз...»



«На алтаре души россиянина всегда были высокие идеалы и цели. Цена их велика. За них были отданы жизни дорогих и любимых нам людей. Я не могу не думать о тех, кто никогда не увидит, как на луг упадет роса, как засияет новый восход и от лесов повеет родниковая прохлада...». Этот отрывок – лирический посыл и одновременно напутствие новому поколению нового века, мало знающему, какой непомерной ценой и жертвами далась защитникам Родины Победа. Поэт говорит о самом важном в жизни молодого человека – обретении ценностных ориентиров. В финальном откровении календаря удивительные слова В.И. Слядневой: «Я верю, что и здесь Ты (выделено авт. Т.Д.) со мной заодно».

Кто же тот, кого автор берет в друзья, – попутчики, единомышленники? Скорее всего, это – молодые люди. Перед ними поэтесса разворачивает литературно-художественную панораму, летопись суровых военных лет: от впечатлений и образов сурового детства до осмысления пережитого и понимания себя как плоть от плоти – части своего народа – жертвенного и могущественного одновременно.

Календарь в данном случае – умная книжка, прочитав и просмотрев иллюстрации которой, любознательный читатель сделает для себя немало открытий. Такова сила живой Памяти этого уникального издания.

Песенные стихи

Музыкальность, напевность стихов В.И. Слядневой композиторы чувствовали всегда. Каждый раз инициатор акции Ставропольская краевая библиотека имени В.И. Слядневой ищет новые, привлекательные для молодежи формы проведения «чтений». Вначале просто зачитывались доклады по темам изучения жизни и творчества В.И. Слядневой и её коллег «по цеху». Однако эта форма не очень привлекала молодёжную читательскую аудиторию.

Заключительное мероприятие шестых по счету Слядневских чтений стало для многих участников и гостей библиотеки настоящим сюрпризом. Открылся праздник премьерой цикла песен на стихотворения В.И. Слядневой, который написал известный ставропольский бард В. Митрофаненко.

Валерий взял в руки гитару, тронул струны и... все замерли. Негромкий, но очень точный голос в сочетании со стихами... Это, правда, было здорово. И рассказ, и доверительная гитара, и личное откровение – всё слилось воедино. Помню впечатление от одной из них – «Аты-баты». От куплета к куплету голос исполнителя крепчал. Напряжение нарастало, как нарастает накал последнего боя... Не менее сильно прозвучали и другие песни «В дымной сумеречной хате», «Смешались краски», «Покаяние», «Связь



поколений», «Комбат»... Казалось, что стихи и написаны-то были для того, чтобы вот так, под гитарные переборы мы узнавали что-то самое важное о жизни, правде чувств и мыслей; о сегодняшнем и завтрашнем дне.

Валерий Валентинович рассказал, что поэтический сборник ему подарила директор библиотеки для молодежи Л.Ф. Игнатова. Прочтя первые четверостишия, он уже не мог оторваться. Просидел всю ночь, потом ещё... За сравнительно небольшой отрезок времени было написано 24 песни. По словам гостя, стихи будто сами подсказывали мелодию и ритм, легко ложились на музыку: «Они очень искренние, трогательные, вроде простые, но в них **СТОЛЬКО** глубины... - находка для бардовской песни!». Здесь хочется добавить – и не только...

Во время концерта в культурном центре «Горизонт» юная участница чтений, лауреат конкурса чтецов по произведениям В.И. Слядневой А. Овчаренко прочитала и пропела под гитару стихотворение В.И. Слядневой «Я всегда любила Бога». Получилась тихая молитва за всех и за всё, чем живет человек; и за родных людей, и за «высокую сущность бытия». Зато «Песня о Ставрополе» на музыку большого друга «молодежки» композитора В.В. Кипора в исполнении лауреата конкурсов чтецов по произведениям В.И. Слядневой А. Желонкиной была такой заводной, что

зал стал дружно аплодировать в такт припеву.

Если быть точными, то стоит сказать, что как местные, так и российского уровня композиторы давно обратили внимание на творчество Валентины Слядневой. Несколько первых кассет (в том числе, на стихи В.И. Слядневой) вышли более двадцати лет назад. В фондах СКБМ имени В.И. Слядневой хранятся пять компакт-дисков с записями музыкальных произведений на стихи поэта. Причем, как и при жизни поэта, композиторы продолжают работать с текстами. На каждом большом мероприятии в городе и крае звучат ее песни.

Всё так. Однако следует уточнить, что именно бардовская песня проявила новые возможности, грани и оттенки разнообразного дарования поэта: остроту, гармоничность, доверительность и современность стихов. Выставленные сотрудниками «молодежки» в сети, записи песен уже путешествуют по интернету и собирают немалое количество «лайков», в том числе, благодаря новому фестивалю «Слядневская весна», который прошел в апреле прошлого года.

Вторая жизнь песен и стихов

По известным обстоятельствам, как бы не велико было желание собрать всех друзей библиотеки в нужное время в нужном месте, сделать это не удалось. Общение проходило в режиме онлайн.



Однако, выйдя за стены молодежки, весенний праздник лишь расширил свои границы. В течение семи дней он дарил участникам и слушателям отличное настроение, а как иначе? Весна (несмотря на все «кавидные» ограничения) осталась временем тепла, солнечных улыбок, позитивных мыслей и головокружительных чувств. Именно в такой атмосфере совершались онлайн-экскурсии по Ставрополю.

И это были не просто географически-топографические путешествия, но вояжи в мир лирики замечательного поэта В.И. Слядневой. Наполнить музыкой слова Поэта помог цикл музыкально-поэтических встреч «Не делайте мир обычным». В общей сложности прозвучало более двадцати песен на ее стихи. Каждый день молодые зрители становились участниками работы творческой площадки «Литературный дебют». Здесь начинающие авторы (порой впервые в жизни) выносили на суд читательской аудитории собственные произведения. В итоге организаторы в очередной раз убедились (и надеемся, убедили других), что фестиваль – это незабываемые впечатления от встреч с единомышленниками. Он объединил всех: уже признанных писателей, поэтов, музыкантов и молодые дарования.

Захватывающе интересно прошел литературный конкурс «Ставрополь: не выходя из комна-

ты». Его участники по цитате из произведения В.И. Сляднейвой угадывали его название. Подписчик, который попадал в точку, в свою очередь, в комментариях зачитывал цитату из своего любимого произведения; следующий угадавший – свою... Получилась своеобразная эстафета, игра и одновременно соревнование в интеллекте, знаниях, способности быстро сосредотачиваться. А в целом – поучительно- «научительное», веселое молодежное действо. Вот какие отзывы участники оставили «молодежке» в память о нем и о «здоровски» проведенном времени.

Александра Б.: «Спасибо за возможность провести несколько дней в атмосфере творчества, дружбы и добра»; Сергей Ц.: «Классно, когда рядом соперники и одновременно единомышленники. Нашел здесь друга, чего желаю всем остальным». Валентина К.: «Думала, что хорошо знаю ставропольских поэтов, а выяснилось, что о Валентине Сляднейвой не знала даже самого главного: в своих стихах она очень много важного рассказывала мне и обо мне самой...».

Традиционно накануне праздника Победы в течение 30 дней ежедневно в социальных сетях звучали стихи В.И. Сляднейвой. Кто-то скажет: прошло 75 лет, сменились поколения, в редких семьях остались люди, которые помнят войну. Для нынешней молодежи всё, что пережито их дедами-прадедами, - не понятно, далеко... Но на



деле вышло иначе. В эфире молодые люди читали наполненные болью стихи поэта так, что мурашки бежали по телу. Выходит, настоящий поэт и честный писатель действительно «через время и расстояния» может «глаголом жечь сердца людей». Своими проникновенными стихами В.И. Сляднева заставила молодых любителей поэзии задуматься о патриотизме, верности, памяти; о тех, кто за свободу родной земли геройски отдал свои жизни.

Шестой ежегодный краевой конкурс чтецов по произведениям В.И.Слядневой оказался самым многочисленным. В нем приняли участие 225 человек от 7 до 17 лет из разных уголков края. Свои ролики нам присылали из самых отдаленных районов: Степновского, Нефтекумского, Арзгирского... Участники фестиваля развернули перед зрителями богатую лирическими красками поэтическую палитру произведений поэта-патриота. Завершился конкурс в День памяти поэта. На бульваре Ермолова, что рядом с «молодежкой», прошел литературный праздник, где снова звучали стихи и победителям конкурсов вручались заслуженные награды... Он передал эстафету литературному онлайн-марафону «Лебеди сердца» (по названию одного из стихотворений Валентины Слядневой). Начиная с 8 октября и вплоть до юбилея поэта 22 декабря 2020 г., марафон шел от села к селу, от

города - к городу. Эта акция наглядно показала неисчерпаемость творчества талантливого ПОЭТа и светлого человека В.И. Слядневой. Её литературное наследие и сегодня дорого современникам, волнует людей, зажигает в их душах свет, рождает лучшие чувства. «Действенная сила художественного слова» никуда не ушла. Она в поступках и произведениях нового поколения, нашей умной и талантливой молодежи.



Поле боя – Ачикулак

Кущевское сражение на Кубани в августе сорок второго – одна из знаковых побед советских казачьих войск не только в ходе битвы за Кавказ, но и, пожалуй, всей Великой Отечественной. Урон врагу, выигрыш времени. Да, но и не только. Ставка Гитлера на казачество как на оружие против большевиков сорвана. После этой блестящей баталии кубанцев и донцов особо отметили: гвардейские звания – всем подразделениям корпуса, командиров повысили в званиях, а у комдивов – генеральские звезды, и, конечно, награды – всем. Сам же командующий теперь уже гвардейского корпуса Николай Яковлевич Кириченко получает очередное звание генерал-лейтенанта и награждается орденом Ленина.

Но таково уж дело ратное: задача дня решена – впереди новые бои. И вот, после кубанских предгорий Кавказа казачий корпус оказывается в



**АНДРЕЙ
КАРТАШЕВ**

Краеведение



ногайских степях Ставрополья. Цель предстоящих действий предельно ясна: использовать преимущество кавалерии в маневренности и громить врага в тылу, лишая его возможности своевременно получать боеприпасы, провиант, а главное – топливо для танков, которые стоят у ворот Кавказа. Линии фронта поначалу нет, но немцам удастся ее стабилизировать силой африканского экспедиционного корпуса. Танки, вкопанные по башню в песок, не позволяют всадникам пройти мимо безнаказанно.

Первыми рейдами, прощупав линию обороны противника к югу и северу от Ачикулака, комкор Кириченко понял, какое значение в обороне неприятеля имеет этот населенный пункт. От него расходились дороги в трех направлениях: на север и юг – к райцентрам Нефтекумску и Степному, а к западу – на Буденновск. Враг превратил Ачикулак в базу снабжения своих войск под Моздоком и сильно укрепленный узел обороны. Осознание этого и придавало замыслам генерала Кириченко особый азарт: взять во что бы то ни стало, овладеть любой ценой.

Первый удар по Ачикулаку Кириченко наметил в ночь с 16 на 17 октября. Захватить и удержать село должна была тридцатая дивизия генерала Головского. Кавалеристам противостоял батальон пехоты африканского корпуса и четыре сотни белоказаков. Тридцать танков делали Ачикулак неприступной крепостью. Но это не остановило



командование корпуса.

По объективным причинам атака началась с опозданием: вместо того, чтобы ударить по врагу неожиданно на рассвете, наступать стали только утром. Дивизия, попав в сети немецкого передового отряда в соседнем Андрей-Кургане, завязла там и получила сама удар силами немецкого гарнизона из Ачикулака. Потеряв до двухсот казаков убитыми и ранеными, дивизия отошла и заняла круговую оборону. Прорвав кольцо окружения, казаки пробились к своим, нанеся противнику адекватный ущерб.

Вторично атаковать Ачикулак Кириченко решился 28 октября. В разведку боем снова была назначена дивизия генерала Головского. С раннего утра три полка в упорном бою теснили фашистов к центру села. Борьба приобрела рукопашный характер. С трудом у противника отбивались дома, приспособленные им для обороны. Ловким броском гранаты в здание штаба немецкого батальона комэск Боровков уничтожил десяток гитлеровцев, а сержант Родиев, присоединившись к нему, захватил штабные документы. Все складывалось в пользу казаков.

Но в семь утра с севера со стороны Урожайного и Владимировки к немцам подошло подкрепление. Танки при поддержке пехоты смяли выставленные заслоны и взяли в кольцо полк Безнощенко. Особенно тяжело пришлось четвертому эскадрону. Будучи полностью окруженным, в рукопашной

схватке с большими потерями он чудом пробился к своим. А его командир Колесников погиб, уничтожив ценой своей жизни вражеский танк.

Кавалеристы оставили село, но получили ценные данные, которые были использованы штабом генерала Кириченко при планировании дальнейших сражений за Ачикулак.

К тому времени минул месяц, как корпус рейдировал в ногайской степи, и командование фронтом упрекнуло комкора в нерешительности и невыполнении основной задачи – действовать по тылам и коммуникациям противника. Одновременно корпусу был отдан приказ: с утра 30 октября, блокируя и обходя опорные пункты противника, развивать удар вглубь обороны противника в направлении на Прохладный.

Однако генерал Кириченко, уверенный в том, что ему на месте обстановка более ясна и понятна, вопреки требованиям командования фронта решил: в ночь с 31 октября на 1 ноября вновь атаковать вражеский гарнизон в Ачикулаке и захватить его. На этот раз в бой были брошены все силы корпуса.

Двое суток девять полков с приданной артиллерией вели тяжелые бои с пехотой и танками противника. Но все попытки взять населенный пункт не дали должного результата, и корпус отошел, потеряв по скромным подсчетам штаба убитыми и ранеными до восьмисот казаков.

Командование фронтом обвинило Николая



Кириченко в невыполнении главной цели и констатировало, что длительная лобовая атака укрепленного пункта не отвечала ни задаче, поставленной корпусу, ни тактике боевых действий кавалерии. Вместо дерзких ночных набегов по тылам корпус, лишившись маневренности, превратился в обычную пехоту. Для комкора мнение командования фронтом стало серьезным «звонком», предвещавшим опасность его карьере, но он его не услышал.

Что же произошло на самом деле? На что рассчитывал генерал, почему игнорировал приказ командования? Почему казаки вновь пошли на штурм Ачикулака, но так и не смогли его снова захватить? Попробуем в этом разобраться.

Итак. Кавалерийские соединения, выполняя боевой приказ командира корпуса, с шести утра 1 ноября перешли в наступление на Ачикулак. Дивизия генерала Миллерова атаковала село с северо-запада. С северо-востока, востока и юга действовали две другие. Наступали цепью в пешем боевом порядке. Утренний туман способствовал скрытости действий казаков, но он же и не давал возможности вести наблюдение за противником и провести артподготовку. Как оказалось, немцы были готовы к отражению атаки. Они встретили кавалеристов со стороны села мощным огнем артиллерии и минометов. Более того, вновь из Владимировки к противнику прибыло подкрепление.

Имея численный перевес, казаки поначалу

успешно развивали наступление с севера-запада, но противник, подтянув танки, пехоту и бронемашину, внезапно атаковал их во фланг и тыл. Лишь героическими действиями кавалеристов яростная атака противника была отбита. Понеся большие потери, немцы откатились в исходное положение. Частям корпуса, штурмовавшим село с севера, помогал партизанский отряд, он отбил атаку пехоты противника, двигавшегося из Владимировки в Ачикулак.

Как ни было горько, но полкам десятой гвардейской дивизии пришлось отступить. Причиной тому стали несогласованные действия остальных сил корпуса: они были введены в бой позднее, чем требовал замысел штаба Кириченко. В результате, против двух наступавших кавалерийских полков противник сосредоточил основные силы своего гарнизона. Так описана ситуация в журнале боевых действий десятой дивизии.

Девятая гвардейская дивизия генерала Тутаринова, согласно своим отчетным документам, начала наступление на северо-востоке тоже в шесть часов. Но и ее полки к полудню были вынуждены отойти, оставив захваченные улицы и дома. Неудача в действиях объяснялась тем, что к моменту развития успеха этой дивизии, полки другой уже отошли со своих позиций, а части тридцатой дивизии с востока вообще не поддерживали атаку своими действиями.

С началом боя заговорила артиллерия девятой



дивизии. Было видно и слышно, как взорвался немецкий склад с боеприпасами, запылял склад с горючим. По заявке кавалеристов в небо поднялась авиация. Удары с воздуха зажгли несколько бронемашин и грузовиков с автоматчиками, двигавшихся на помощь гарнизону Ачикулака. В течение дня обе стороны несколько раз пытались перейти в контратаку, но скованные огнем, каждый раз откатывались на исходное положение. Бой дивизии за Ачикулак продолжался до наступления темноты, после чего полки закрепились на рубеже в непосредственной близости от Ачикулака.

Теперь посмотрим, как действовала третья – тридцатая дивизия. В отчетном документе корпуса отмечено, что она повела атаку на Ачикулак с юга, завязав огневой бой на двадцать минут раньше других дивизий. На окраине села противник встретил ее сильным огнем из всех видов оружия, а в шесть утра контратаковал казаков. Огонь велся из домов и сараев, в которых были заранее подготовлены амбразуры для стрельбы, а окна заложены кирпичом и мешками с песком. На крышах зданий были оборудованы огневые точки для автоматчиков. На южной окраине села противник возвел мощный дот, из восьми амбразур которого велся сильный пулеметный огонь. Дивизия, неся потери, при поддержке артиллерии и минометов продолжала продвигаться вперед.

Ближе к восьми часам смелой атакой с криком «Ура!» части дивизии овладели кирпичным

заводом и восточной частью Ачикулака. Преодолевая упорное сопротивление противника, ведя уличные бои и отражая контратаки танков и пехоты противника, несмотря на большие потери, части дивизии продолжали продвигаться вперед, ведя бой за каждый дом.

Но к вечеру один из полков пришлось вывести в резерв – потери его были велики. Другой, атакованный свежими силами врага, оказался зажатым с флангов и до позднего вечера вел бой за выход из окружения. К ночи дивизия сосредоточилась в роще в шести километрах восточнее Ачикулака и стала приводить себя в порядок.

По итогам дня офицер штаба Кириченко записал в журнале, что дивизии действовали разрозненно, задача по овладению Ачикулаком не выполнена, а части корпуса понесли значительные потери. В одной только десятой гвардейской дивизии было убито более двадцати человек, еще четверо пропало без вести, три десятка получили ранения.

Более внятно несогласованность действий командиров описана в журнале боевых действий именно десятой дивизии. Оказывается, сосед слева начал наступление с опозданием на два часа, а сосед справа – тридцатая дивизия – на полчаса раньше, и со вступлением в бой десятой дивизии тридцатая уже отошла. Воспользовавшись такой ситуацией, немцы смогли выстоять против первого удара. Маневрируя резервами, они поочередно контратаковали наступавших казаков и вынудили



их отойти на исходные рубежи.

Командование корпусом убедилось в том, что Ачикулак был хорошо подготовлен к круговой обороне. Все подступы к селу держались немцами под прицелом, возведенные бетонные укрепления даже в случае прямого попадания артиллерийских снарядов оставались невредимыми, хорошо налаженная связь обеспечивала мобильную переброску сил.

Таким образом, Ачикулак в результате боя 1 ноября остался в руках противника. Но командование корпуса не оставляло своих планов овладеть населенным пунктом.

Измотанные дневным боем, войска корпуса за час до полуночи по приказу генерала Кириченко вновь сосредоточились под Ачикулаком и повели повторный штурм. Девятая дивизия генерала Тутаринова, наступая с севера, в два часа ночи под сильным огнем противника ворвалась в село. Метр за метром продвигаясь вглубь села, кавалеристы уперлись в немецкие окопы с пехотой и танки, вкопанные в землю.

Враг упредил десятую дивизию генерала Миллера и ударил первым. Бой получился встречным. В девять часов утра дивизия сражалась на том же рубеже, с которого должна была начать атаку. И только в два часа пополудни, после того как противник ослабил натиск, части дивизии смогли выйти на окраину села, но этим все и окончилось.

Тридцатая дивизия смогла вступить в бой

только в семь часов. Противник воспользовался перерывом в действиях и подтянул подкрепление из тыла. Полки генерала Головского, прорвав первую линию обороны врага, овладели восточной окраиной Ачикулака. Но в два часа дня полк майора Науменко был отрезан от основных сил дивизии и десять часов вел неравный бой с автоматчиками и бронетехникой противника. Только благодаря поддержке соседнего полка и артиллерии дивизии, к исходу дня сильно поредевшие эскадроны вышли из боя и присоединились к остальным.

Вот и опять, как накануне, дивизии корпуса действовали не согласованно, что стало одной из главных причин невыполнения замыслов генерала Кириченко.

Видя тщетность попыток захватить Ачикулак, командир корпуса отдал приказ дивизиям: с наступлением темноты оставить боевую линию. И корпус отошел на восток от линии фронта на добрую сотню километров. Отступил без приказа!

Узнав об этом, командующий фронтом генерал Тюленев пытался разъяснить Кириченко, что поставленная корпусу задача совершенно не совместима с отходом на восток, и требовал немедленно восстановить боевое соприкосновение с противником и активизировать набеговые действия. Но Кириченко мотивировал свои действия усталостью коней, наступлением холодов и отсутствием у казаков зимнего обмундирования.

Сложно представить себе кого-либо другого в



должности командира корпуса, кто мог бы проигнорировать в то время приказ командующего войсками фронта в боевой обстановке! Реакция на это могла быть самой жесткой: от отстранения от должности до трибунала с расстрелом. Но ни того, ни другого с Николаем Яковлевичем не произошло. Победа в кущевском сражении не была забыта. Сталин возлагает на Кириченко большие надежды, мечтает создать Конную армию, как в гражданскую войну, и поручить командование ею этому волевому командиру. Так впоследствии и было: образованную конно-механизированную группу из двух кавалерийских корпусов и танковых групп возглавит именно Кириченко – «гвардии казачьих войск генерал-лейтенант», как сам себя именовал комкор, подписывая документы. Кстати, командир Донского гвардейского корпуса Селиванов, имевший на одну звезду меньше, последовал примеру Кириченко и тоже стал использовать титул «гвардии генерала казачьих войск».

Покровительство Кириченко сверху проявлялось во всем. Больше, чем о соседях, о корпусе писали центральные газеты. При политотделе корпуса работала съемочная группа, которая фиксировала боевые подвиги кубанских казаков, как говорится в режиме «online». Завышенные данные о потерях противника, которые выдавал штаб корпуса, вызывали критику в штабе фронта, но комкор не обращал на это внимание.

Генерал Кириченко щедро раздавал боевые награды, не забывая отметить при этом ни своих заместителей, ни других командиров и казаков, ни вольнонаемных. В число награжденных попали писари, машинистки, прачки, официанты. Боевым орденом была награждена режиссер Людмила Снежинская. Честь и хвала Николаю Яковлевичу, что не забывал никого! Но иногда его щедрость переходила допустимые границы и награды давались незаслуженно, чему были неопровержимые доказательства. На него жаловались, но и это сходило ему с рук.

Так продолжалось до тех пор, пока Кириченко не был обвинен в медлительности уже на Южном фронте летом следующего года. Новое командование обратило внимание и на зазнайство, самовосхваление, и преувеличение своих успехов командиром корпуса и добилось его отстранения от должности.

Но это ли главное, когда мы говорим о боях за Ачикулак?

Все ничего, если бы не такие высокие потери. Только по официальным данным штаба корпуса, которые вызывают сомнения, за два дня боев дивизия Тутаринова потеряла убитыми восемьдесят казаков, почти сорок пропало без вести, более ста семидесяти было ранено. В дивизии Миллерова погибло девяносто, ранено сто сорок человек. К этому следует добавить и потери в дивизии Головского.



Но удивительное дело: в списках безвозвратных потерь девятой гвардейской дивизии, где первые погибшие отмечены в бою у станицы Шкуринской на Кубани, а последние – при поселке Матвеев Курган уже на Дону в конце февраля сорок третьего, лишь трое военнослужащих значатся погибшими в Ачикулаке. Всего за семь месяцев боев согласно донесению в дивизии погибло 227 человек. Из этого следует, что возможно были и другие списки. А может, сведения о потерях тщательно скрывались штабом корпуса или занижались так же, как возвеличивались потери противника. В самой большой братской могиле в центре села похоронено предположительно 420 бойцов и командиров, на улице Совхозной под обелиском покоятся останки еще 55 воинов, в третьей могиле – еще 76. Число похороненных в двух других могилах точно неизвестно. По свидетельству Селиверста Гордиенко – бывшего помкомвзвода, старшего сержанта, служившего в одном из полков девятой гвардейской дивизии, число погибших в боях за Ачикулак в корпусе доходило до трех тысяч. Какие же цифры ближе к истине? Возможно, мы когда-нибудь это узнаем.

Есть еще одно немаловажное обстоятельство, которое заставляет задуматься о роли личности командира в ходе и исходе боя или сражения. Внезапный отход кубанского корпуса из-под Ачикулака едва не стоил жизни целому партизанскому отряду. Связной, спешивший по распоряже-

нию штаба корпуса снять часть сводного партизанского полка, прикрывавшего дорогу на Ачикулак с севера, в темноте попал не на тот участок, и решил, что партизаны уже оставили свой район обороны. Так около ста партизан остались на своих позициях под Ачикулаком. А на следующий день они были атакованы немецкой мотопехотой и танками. Мелкими группами им удалось отойти по открытой местности. Тем не менее отряд потерял девять бойцов.

Сожалел ли Николай Яковлевич позже о потерях, которые, скорее всего, не стоили его амбиций? Возможно, он упрекал себя в том, что не смог обеспечить слаженных действий своих дивизий в бою, и в том, что ему так и не удалось взять Ачикулак. В январе сорок третьего село освободила стрелковая дивизия полковника Селихова.



«От Невы до Терека»: поэтические голоса друзей

В 2020 году вышла в свет книга «От Невы до Терека»* В часть первую, озаглавленную «От Невы...», включены произведения литераторов Санкт-Петербурга с сюжетами о Кавказе и Ставропольском крае. В части второй, «...до Терека», писатели Ставрополя, регионов России и ближнего зарубежья повествуют о событиях в Санкт-Петербурге.

В предисловии (автор – Николай Прокудин) отмечается многолетнее дружеское сотрудничество писательских коллективов Петербурга и Ставрополя, подчёркивается необходимость «пробудить интерес к чтению бумажных изданий и русской речи, сохранить литературный язык» (с. 4).

Голоса тридцати одного участника названного сборни-



**МАРГАРИТА
САМОЙЛОВА**

Литературо- ведение



ка сливаются в поэтический хор, в котором бережно сохраняется неповторимость звучания партии каждого певца.

Заметим, что хотя женских голосов всего лишь семь, они слышны и гармоничны, как, например, в последних строках рассказа Натальи Вздоровой «А какая в Ленинграде погода?»

«Отъезжая от Пулково, я увидела ту самую женщину с девочкой, что сидели рядом со мной в самолёте. Их обнимал мужчина, его спина отчего-то тряслась, хотя стояла удивительно тёплая ночь» (с. 25).

В новелле Галии Мавлютовой «Прекрасна ты, душа людская! Новогодний рассказ» – наполненная напряжённым звучанием встреча матери и сына.

«Из груди вырвался пронзительный крик, солдат спрыгнул с подножки вагона и бросился к ней навстречу:

– Мама!..

И в этом втором слоге буква «м» звучала длительно и сладостно, отзываясь в сердце Валентины удивительными аккордами. Мам-м-м-м-ма! Так Димка в детстве бежал к ней, разбросав в стороны узкие, смуглые ручки.

– Сыночек!» (с. 72).

«Петербургские дворцы и парки – / Музыка, звучащая во мне» – вступает голос Аллы Мельник (с. 362).

Разноязычное звучание слышно в повести

Екатерины Полумисковой о событиях на балтийской границе Российской империи начала 18 века (с. 398-425).

Мелодии Вивальди, Шнитке, Шуберта вплетаются в поэтическую речь Мариам Шейховой (с. 438-439).

Многоголосие мужской части поэтического хора исполнителей звучит мощно и красочно.

Остановлюсь на страницах со стихами Юрия Леонидовича Кобрин «Из венка Иосифу» (с. 304-308).

*«Россия, сколько своенравных
твоей сливаются судьбой!»*

23.05.64 г.

(«Но день грядёт», с. 305)

«Не хороните Бродского в России...

У нас и после смерти оболгут,

когда страна рифмуется с насильем,

поэт всегда – на вскрытой вене жгут.

...Тот ватник, что согрел в деревне плечи,

уже тогда похож на смокинг был».

31.01.96 г.

(«Прощание», с. 306).

Ю.Л. Кобрин много лет живёт в Литве. Одним из направлений его творческой деятельности является осуществление функций президента Благотворительного фонда поощрения русской

культуры писателя Константина Воробьёва в Литовской Республике (с. 304).

* От Невы до Терека: Сборник / Сост. Е.Е. Мякишев. – СПб.: АНО РОССИКА «ЛИКИ», 2020. – 444 с.



Заря добра

В периодике Ставрополья появилось новое издание – альманах «Свет души» Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В.Маяковского, выпущенный при финансовой поддержке Литературного фонда им. В. И. Сядневой. Его авторы – люди с большим жизненным опытом и только начинающие жизнь, представители разных национальностей и вероисповеданий, профессий и интересов. Однако их объединяет одно: все они сильные духом личности, не сломленные инвалидностью и не замкнувшиеся в своей проблеме, а верящие в себя, оптимистически смотрящие в будущее.

«Друзья мои, будем стойкими! И да поможет нам преодолеть все наши несчастья великая радость настоящего литературного творчества». Эти слова из письма инвалида по



**ТАТЬЯНА
ПЕСТРЯКОВА**

**Литературо-
ведение**



зрению Маргариты Деренговской. А вот строки их стихотворения «Тросточка заветная моя» Валентины Морозовой:

*Я ее не тростью величаю,
А душевно – «тросточкой!» зову,
И когда в дорогу собираюсь,
Я всегда с собой ее беру.*

...

*Вот и ходим вместе неразлучно,
Словно очень добрые друзья:
Я и мой попутчик, мой ведущий,
Тросточка
заветная
моя!*

Никогда не забуду разговор с заслуженным строителем Российской Федерации, ветераном труда, орденоносцем Валентином Евдокимовичем Григорьевым, у которого страшная болезнь забрала сначала обе ноги, а потом и зрение. Вы бы видели блеск его глаз, когда он демонстрировал мне свое «орудие труда» – стальной трафарет, который ему подарил друг, чтобы написанные на листе строки не налезали друг на друга. Его признание: «Встаю в 6 утра и до 9 пишу, а потом с 10 вечера опять...» Этот пример учит нас стойкости, мужеству и способности творчеством побеж-

дать физические недуги.

Авторы альманаха не замыкаются в своем мирке, в своих проблемах, а пишут очень искренне, очень лично об общечеловеческих ценностях: Родине, доброте, смысле жизни, счастье, любви, дружбе. И при этом, заметьте, ни слезливых жалоб, ни пессимистического настроения.

Какой искренней болью за судьбу России проникнуты стихи Валерия Телегина:

*Не провидец я и не мессия.
Времени не ведома мне даль...
Но опять растерзана Россия,
И в гранит впечатана печаль.*

По-максималистски юношеское стремление сделать наш мир светлее и чище читается в стихах Лейлы Каппушевой:

*Прекрасное должно быть даже в малом:
В душе у каждого есть чудный свет.
Да будет так, чтоб ярче воссияла
Заря добра, как солнце для планет.*

О всепобеждающей силе добра пишет в своих поэтических произведениях и Константин Елисеев:

*Эй, бродяга, заходи,
Отдохни в моих покоях.
Ты откуда, милый друг?
Имя-то тебе какое?*

*Вижу, долго. Не спеши,
Не обижу я беднягу.
Что ж уходишь? В добрый путь.
На, возьми мою рубаху.*

Помимо публикаций авторы альманаха «Свет души» получили уникальную возможность принять участие в работе литературной студии, которой руководит поэт Владимир Яковлевич Яковлев. Это позволило им при тесном сотрудничестве с литературным редактором многократно править и переделывать, доводя до совершенства, свои материалы. А в самом альманахе в результате такой работы появилась своего рода конструктивная находка – добрые, душевные мини-статьи В.Яковлева, в которых содержится профессиональный анализ текста и сведения об авторах.

На базе краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им.В.Маяковского планируется организовать еще две студии: художественную и музыкальную. Это стало возможным благодаря инициативе трех членов Всероссийских творчес-



ких союзов: поэта В.Я.Яковлева, художника А.В.Гайденко и композитора В.В.Кипора. Они же выступили и в качестве редакторов альманаха «Свет души», в результате чего издание приобрело уникальное жанровое разнообразие, основанное на синтезе литературы, живописи и музыки. Неслучайно редакционная коллегия альманаха позиционирует его как литературно-художественное издание с музыкальным приложением. В нем представлены и стихи, и проза, и публицистика. А еще – музыкальные клавиры как начинающих авторов, так и мэтров.

На страницах первого выпуска альманаха рассказывается «Негромкая история одной жизни» незрячего музыканта Василия Викторовича Павлова с детальным разбором его сочинения «Путешествие во вселенной». «Целью автора музыкальной пьесы... была попытка передать через звуки, через мелодию свое личное ощущение пространства, бесконечную картину вселенной. Поставленная цель достигнута», – делится своими впечатлениями председатель Ставропольского отделения Союза композиторов России Виктор Викторович Кипор.

Картины, помещенные в альманахе, написаны ставропольским художником Александром Владимировичем Гайденко. Особо хотелось бы выделить портрет В.Григорьева, вынесенный на

обложку альманаха. Мы видим человека на протезах, с тростью, в очках. Он стоит один на дороге, посередине длинного и трудного жизненного пути. Мы видим портрет Победителя. В его руке раскрытая книга – символ величия человеческого духа над обстоятельствами, над черствостью окружающего его мира.

А как органично вписываются в текст альманаха графические рисунки В.Яковлева! И фотографии, помещенные в сборнике, это – не разрозненные снимки, а фотоотчеты о проводимых в библиотеке литературных, художественных и музыкальных мероприятиях. А разве можно оставаться равнодушными, листая страницы с детскими рисунками? Творчество юных волонтеров из МБОУ лицея № 16 г.Ставрополя явилось результатом большой воспитательной работы, проводимой с ними редакционным советом альманаха.

«Мы все вместе делаем очень нужное дело, – сказала на презентации первого выпуска альманаха «Свет души» директор краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В.Маяковского Екатерина Захарова. – Мы планируем еще и аудиовыпуски с авторскими начитками материала, открытие новых рубрик и студий. Ведь нашим читателям так не хватает живого общения. Неслучайно что, на заседания нашей лите-

ратурной студии приезжают литераторы из станицы Темижбекской, Невинномысска и Георгиевска. Мы ждем новых предложений, новых авторов. Уверена, что у этого уникального издания большое будущее».

Технический редактор: Ю.П. Шаталов
Дизайн и вёрстка: С.Е.Стефанова
Корректор: И.Е. Пекарская

Подписано в печать 15.07.2021.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ №235. Тираж 979 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Минераловодская типография»,
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, 33.
Тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN 978-5-905831-31-7

